

## Е.П.Блаватская

### Заколдованная жизнь (Со слов Гусиного Пера)

#### Рассказ «Радды-Бай» (Е.П.Блаватской)<sup>1</sup>

Это было в сырую, темную ночь в сентябре 1884 года. Холодный туман спускался на улицы Эльберфельда<sup>2</sup> и заволакивал, будто похоронным флером и всегда-то скучный, а теперь совсем уж безжизненный, глубоко уснувший фабричный городок. Большая часть его жителей, т.е. весь рабочий люд, – давно уже разошелся по домам; и давно уж, вытягивая усталые члены под немецкими пуховиками и уткнув наболевшие от машинного стука головы в немецкие перины, наслаждался непробудным сном.

Все было тихо и в большом уснувшем доме, где я тогда находилась.

Как и все прочие, – я лежала в постели; но постель моя была для меня не ложем отдыха, а одром страданий, к которому болезнь приковала меня уже несколько дней.

Так все было тихо кругом меня в доме, что, по выражению Лонгфелло<sup>3</sup>, «тишина становилась слышной». Я совершенно ясно различала, как переливалась кровь в моем наболевшем теле, производя тот монотонный и столь знакомый всякому, кто когда-нибудь прислушивался к полной тишине, – звон в ушах. Я сосредоточенно следила за этими постепенно возрастающими звуками, пока из шума, как далекого водопада, они не перешли в рев могучего горного потока, сердито бурлящие воды стремнины... Но вот вдруг, быстро изменив характер, шум и рев, словно слились и перепутались, перемешались и, наконец, были поглощены другим, более отрадным и желанным мною звуком. То был тихий, еле слышный шепот голоса, давно ставшего мне знакомым, благодаря денным и ночным долголетним с ним беседам. Да, шепот знакомого и всегда дорогого голоса; теперь же, как и во все такие минуты нравственных ли, физических ли страданий, – вдвойне дорогого, потому что он всегда приносил мне с собою чувство упования и утешение, облегчение, если не полное выздоровление... Так было и на этот раз:

– Терпение!.. – шептал этот ободряющий, душевный голос. – Подумай о днях, проведенных в радостном общении, о полученных тобой великих уроках истин Природы, о многих ошибках людей относительно этих истин, и постарайся добавить к ним опыт ночи в этом городе. Рассказ о некой странной, погибшей жизни не может не сократить часов бессонницы и страданий. Отвлекись от своих страданий, найди пищу своему вниманию. Смотри... вот прямо там, перед собою!..

«Прямо там, перед собою» – означало в этом случае большие, из цельных зеркальных стекол три окна пустого дома, стоящего на другой стороне улицы. Его окна находились по прямой линии против моих окон. Когда я взглянула по указанному мне направлению, то действительно увидела то, что заставило меня на время позабыть даже жестокие боли, терзавшие мою распухшую руку и тело, пораженное ревматизмом.

---

Рассказ публикуется по: *Ребус, 1891, №24–29, 16 июня – 21 июля.*

Более полный англоязычный вариант рассказа был издан в сборнике произведений Е.П.Блаватской «Nightmare Tales» («Кошмарные рассказы», 1892).

В настоящем издании краткий авторский текст рассказа на русском языке совмещен с переводными фрагментами из англоязычного варианта, которые напечатаны гарнитурой «Arial».

По сравнению с прежней публикацией (*Ган Е.А., Блаватская Е.П., Желиховская В.П. О Всеблагое Провиденье... Сборник повестей и рассказов. Донецк, 2011. С. 104–157*) текст рассказа уточнен.

Перевод с англ. К.А.Зайцева.

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

<sup>1</sup> Доставлен нам Е[леной] П[етровной] незадолго до ее смерти. – *Примечание редакции журнала «Ребус».*

<sup>2</sup> Город в Германии, где Е.П.Блаватская с середины августа по начало октября 1884 г. жила в гостях у Г.Геххарда.

Геххард Густав (1828–1900) – немецкий банкир и владелец фабрики по производству шелка, теософ, Е.П.Блаватская дважды гостила в его имении в Эльберфельде в 1884 и 1886 гг.

<sup>3</sup> Лонгфелло Генри Уодсворт (1807–1882) – американский поэт.

Словно туман, странной формы облако ползло по зеркальным окнам пустой квартиры, увеличивалось и постепенно заволакивало всю стену. Густое, тяжелое, змееобразное, белесоватое облако это напомнило мне, почему-то, своей причудливой формой тень гигантского развивающегося кольца боа констриктора<sup>4</sup>. Мало-помалу эта тень исчезла, оставив за собою одно сияние, местами серебристо мягкое, бархатистое, словно отсвет молодого месяца на темных водах чистого пруда. Затем оно задрожало, заколебалось и зеркальные стекла вдруг заискрились, будто отражая тысячи преломляющихся лунных лучей, целое тропическое звездное небо, – сперва с наружной стороны окон, а затем и внутри пустого жилья...

А тишина в доме и вокруг меня становилась с каждою минутою *все слышнее и явственнее* и шум далекого водопада громче и громче, когда вдруг сияние внутри запертых окон стало снова густеть и то же туманное облако удлиняться и, пронизывая стекла, ползти тем же змееобразным движением через улицу и над нею, медленно созидавая и перекидывая волшебный мост от очарованных окон пустого дома до моего балкона, – более, до самой моей кровати! В то время, когда я напряженно следила за этим странным явлением, и самые окна, и пустая за ними комната внезапно исчезли. На их месте появилась другая, комната в здании, которое было *в моем сознании* швейцарским *châlet*<sup>5</sup> и ничем иным. Старые, из потемневшего от времени дуба стены рабочего кабинета были покрыты от потолка до полу резными полками, заваленными древними рукописями и фолиантами, равно как и более современными сочинениями. Такой же большой старомодный письменный стол стоял посреди комнаты. За ним перед целым ворохом рукописей и письменных принадлежностей с гусиным пером в руках сидел<sup>6</sup> бледный, истощенный на вид старик; угрюмая, изможденная, скелетообразная фигура с лицом таким исхудалым, страдальческим и желтым, что свет от единственной на столе рабочей лампы, падая на его голову, образовывал два ярких пятна на выдающихся скулах этого изнуренного, словно выточенного из старой слоновой кости, лица.

В то время как с трудом приподымаясь на подушках, я всматривалась через улицу, стараясь лучше взглянуть через такое расстояние в лицо старика, видение – все целиком, как было, *châlet* и рабочий кабинет, письменный стол, бюро, книги и сам старик, – все это вдруг заколыхалось и задвигалось... Вот оно подвигается ко мне... ближе, все ближе; вот, неслышно скользя по призрачному мосту через улицу, видение все приближается; вот оно уже достигло моего балкона и, не останавливаясь ни одной секунды, оно проходит – словно просачивается – сквозь стену и запертые окна. Наконец, выплыв на середину моей спальни, оно останавливается в двух шагах от моей кровати...

– *Внимай его думам, прислушайся к голосу его пера... Слушай, что оно станет писать, – звучит где-то далеко тот же отрадный, далекий, но все же близкий голос. – Его история поучительна, и связанный с нею интерес способен не только сократить длину часов бессонницы, но даже и заставить забыть самые страдания... Сделай опыт и усилие, и я помогу!..* – добавил он, используя известную формулу розенкрейцеров и каббалистов.

Я повиновалась и сосредоточила все свое внимание на этой одинокой, прилежно занятой фигуре, которую я видела так близко от себя, но которая и не подозревала моего соседства. В первые минуты скрип гусиного пера в руках видения не возбуждал в моем уме другого представления, кроме тихого шепота с прищелкиванием каких-то острых царапающих звуков необъяснимого характера. Но мало-помалу ухо мое стало уловлять неясные слова в звуках как бы слабого, тонкого, дребезжащего голоса; и мне сперва почему-то показалось, что они исходили из уст согбенной за письменным столом фигуры: старик *читал* что-то вполголоса, а не *писал* свой рассказ. Но я очень скоро убедилась в противном. Уловив минуту, когда он повернул на мгновение голову в мою сторону, я разом убедилась, что его нервно сжатые тонкие губы были неподвижны, а голос был слишком плаксивым и резким, чтобы быть *его* голосом. В то же время я увидела, как после каждого написанного его слабою, дрожащею рукою слова, внезапно вспыхивала из-под его гусиного пера, словно острый свет, искра, превращающаяся так же

<sup>4</sup> Боа констриктор – обыкновенный удав (лат. *Boa constrictor*).

<sup>5</sup> шале (*фр.*) – небольшой сельский домик в швейцарском стиле.

<sup>6</sup> В тексте написано: стоял.

внезапно в звук, в действительности ли или же только в моем внутреннем сознании – это все равно: дело в том, что это был действительно тоненький голосок Гусиного Пера, раздававшийся у меня в ушах, хотя как само перо, так и человек, пишущий им, были, вероятно, в то время за сотни миль от Германии. Такие вещи случались и будут еще часто случаться, особенно в ночные часы, под «сенью звезд», когда, как говорит Байрон:

...Язык миров иных мы изучаем<sup>7</sup>.

Во всяком случае, и много дней спустя я помнила каждое произнесенное в ту ночь «пером» слово. В этом умственном процессе, впрочем, не заключалось очень большого подвига, так как в нем участвовала не память, а просто зрение. Это случилось не в первый раз. Едва я села с намерением записать рассказ Пера, как нашла его, по обыкновению, уже отпечатанным неизгладимыми чертами перед моим внутренним зрением на скрижалях астрального света...

Мне оставалось, как и всегда в подобных случаях, – только списывать рассказ, передавая его слово в слово...

Я не успела узнать имени моего ночного видения – героя рассказа. Читателям, почему-либо предпочитающим видеть в этом рассказе обыкновенным образом сочиненное событие, а быть может просто и сон, – перипетии поведенной Гусиным Пером драмы окажутся от этого не менее интересными.

Вот она, как была тогда записана, а теперь переписана мною буквально.

## I

### История незнакомца

...Место моего рождения – небольшая горная деревушка. Горсть швейцарских хижин, далеко прячущихся в облитой солнцем котловине, между двумя свалившимися ледниками и горою, покрытою вечным снегом. Туда, ровно тридцать семь лет тому назад, я вернулся разбитым нравственно и физически калекой, чтобы там умереть.

Но чистый укрепляющий воздух родины решил иначе: он оживотворил меня, и я доселе жив. К чему? Зачем?.. Кто может знать! Быть может, я был обречен на жизнь, чтобы свидетельствовать о том, что скрывалось доселе мною в глубокой тайне, как очевидец и герой драмы, столь полной ужаса и страшных событий; рассказывать о них все равно, что переживать их снова... Но я не в силах скрывать эту тайну долее! Или это *он* толкает... меня к этой исповеди?.. Он... он!.. Так, да послужит этот рассказ наказанием моей гордости, уроком, идущим по моим стопам...

Главная причина, почему я так долго скрывал случившееся, – это полученное мною в известном направлении и с самого детства воспитание. Благодаря ему, я рано приобрел основанные на одной гордости предубеждения; и когда последующие события, уличив в фальши, опрокинули мои излюбленные аксиомы, я все-таки не смирился, но восстал еще хуже против очевидности. Некоторые были бы склонны отнести эти события на счет Провидения, но я в него не верю. Однако я не могу приписать их просто случаю. Хотя я и стар, физическая слабость никоим образом не повлияла на мои умственные способности и я помню мельчайшие детали, касающиеся причины, повлекшей столь роковые последствия. Усматривая в этой непрерывной эволюции созданных причин, зарождающих прямые последствия от одной первоначальной главной причины, от коей и произошло все последующее, – я связываю эту первопричинность со слабой и кроткой личностью – некоего аскета-японца, и говорю: он – перст, направивший первоначальное событие; а все последствия только доставляют мне одно лишнее и неопровержимое доказательство существования *того*, что я с радостью признал бы – о, когда бы это только еще было возможным! – за бессмысленную химеру, за создание моей личной фантазии, за горячее видение, за бред расстроенного, обезумевшего мозга!! О, когда бы!.. Потому что именно этот образец всех человеческих добродетелей, этот старец, наполненный горечью и испортивший мне всю жизнь, это именно он – первопричинность всего зла, создатель

---

<sup>7</sup> Строки из трагедии «Манфред» (1817) английского поэта Д.Байрона (1788–1824).

преследующего меня – демона!.. Насильно столкнув меня с однообразной, но зато безопасной тропы обыденной жизни, он был первым, навязавшим и мне против воли убеждение и заставившим уверовать в *загробную*, если не в *вечную* жизнь, прибавив, таким образом, еще одну лишнюю пытку ко всем омерзительным ужасам земной жизни!..

Дабы дать читателю более ясное представление о моем положении, я должен прервать на время свои воспоминания *о нем*, сказав несколько слов о самом себе.

Как уже сказано, родившись в Швейцарии от родителей французов, сосредоточивших всемирную премудрость в литературной триаде, состоявшей из Вольтера, Ж.Ж.Руссо и де Гольбаха<sup>8</sup>, и получив воспитание в одном из германских университетов, – я вырос ярким материалистом и *убежденным* атеистом. Я был совершенно не способен представить себе даже в воображении каких-то сверхъестественных существ, – не говоря уже о каком-то высшем существе, – властвующих над миром или даже вне видимой природы и отличных от нее. Вследствие такого умозрения я и взирал на все то, что не могло быть подведенным под строгий анализ физических чувств, как на одну химеру. Душа, – рассуждал я, – даже допуская таковую в человеке, должна быть вещественной. Определение слова *incorporeus*<sup>9</sup> – эпитет Оригена<sup>10</sup>, даваемый им его Богу, – означает вещество, только немногим утонченнее физических тел, и о котором мы, во всяком случае, не способны создать себе ясного представления. Так как же может то, о чем наши чувства не способны доставить нам ясного понятия, как может оно сделаться вдруг видимым или даже просто произвести какое-либо осязательное явление?

Естественным следствием подобных умозрений являлось самое дикое презрение к легендам в то время только что зарождающегося в Европе спиритизма, равным которому было разве только всегда овладевающее мною чувство злобной иронии при первом слове назидания от изредка встречаемых мною патеров. Это последнее чувство не оставляло меня во всю жизнь и только окрепло с годами.

В 8 отделе своих «Мыслей» Паскаль<sup>11</sup> сознается в полной неудовлетворительности доказательств касательно существования Бога. Я же в продолжение целой моей жизни исповедовал полную уверенность в *не-бытии* такого экстра-космического существа, повторяя вместе с этим великим мыслителем памятные слова, в которых он нам говорит, что:

«Я искал удостоверения в том, не оставлял ли этот Бог, о котором говорит весь мир, хотя каких-нибудь за собою следов. Я ищу всюду, и всюду нахожу один мрак. Природа не дает мне ничего, что не сделалось бы для меня вопросом сомнения и беспокойства».

Не находил и я до сего дня ничего такого, что бы могло заставить меня изменить это воззрение. Я никогда не верил и никогда не поверю в Верховное Существо. Относительно же явлений, вера в которые, появившись с Востока, распространилась и проповедуется теперь по всему земному шару, и того, что есть такие на свете люди, которые развили в себе психические способности до такой степени, что равняются древним богам по своей силе, – над теми, как и над другими, я давно перестал даже смеяться. Вся моя жизнь, разбитая, раздавленная, приниженная, является громким протестом против такого дальнейшего отрицания!

Вследствие несчастного по смерти моих родителей процесса, я потерял большую часть моего состояния и тогда же решился – скорее ради тех, кто мне были дороги, чем для самого себя, – составить себе другое. Моя старшая и единственная сестра, которую я обожал, была замужем за бедным человеком. Для ее детей я решился вступить в товарищество с богатой фирмой в Гамбурге, а отправился в Японию в качестве агента.

---

<sup>8</sup> Вольтер (наст. имя Ф.М.Аруэ, 1694–1778) – французский философ, историк, поэт, прозаик, сатирик, публицист, правозащитник.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французский философ, писатель, педагог.

Гольбах Поль Анри (1723–1789) – французский философ, один из основателей школы французского материализма и атеизма.

<sup>9</sup> бестелесный (*лат.*).

<sup>10</sup> Ориген (ок. 185 – 254) – греческий христианский теолог, философ, ученый, один из восточных Отцов Церкви, основатель библейской филологии, автор термина «Богочеловек».

<sup>11</sup> Паскаль Блез (1623–1662) – французский философ, писатель, математик, физик.

В продолжение нескольких лет мои дела шли очень успешно. Я пользовался доверием многих влиятельных японцев, благодаря покровительству которых получил возможность посещать и делать обороты и дела во многих местностях, совершенно недоступных в то время для европейцев. Равнодушный ко всем религиям, я заинтересовался буддизмом, единственной, по моему, системой, достойной называться философической. Поэтому в свободное от занятий время я посещал самые замечательные в Японии храмы и видел во всех деталях самые важные из девяноста шести буддистских монастырей в Киото. Так, я изучал по очереди храмы: Дой-Бутсу с его гигантским колоколом, Тэо-Нене, Енарино Яссеру, Кие-Мизу, Хигадзи Хонг-Вонси<sup>12</sup> и много других знаменитых капищ.

Во все эти протекшие в Японии годы я не переставал относиться скептически ко всему вне чисто материального мира. Я насмеялся над претензиями японских бонз<sup>13</sup> и аскетов, как и над уверениями наших католиков и европейских спиритов, я не мог верить даже в существование, не только в приобретение таких сил или способностей, о которых ничего еще не было известно нашим ученым и поэтам и не могли быть ими изученными; вследствие этого, я и поднимал их на смех. Суеверные и черножелчные<sup>14</sup> буддисты, учащие нас избегать радостей мира сего, смирять страсти и добиваться полного бесчувствия к страданиям из-за заочной надежды приобрести к концу жизни химерические дары, казались мне невыразимо смешными.

В тот роковой и незабываемый для меня день у подножия золотой Квон-он<sup>15</sup> я познакомился с почтенным и ученым бонзой, неким Тамурой Хидерей<sup>16</sup>, сделавшимся после того моим лучшим и самым доверенным другом. Несмотря на мое большое и искреннее уважение к нему, я никогда не упустил случая посмеяться над его религиозными убеждениями, тем часто раня его чувства.

Но мой благородный друг был столь же кротким и всепрощающим, как и ученым, полным мудрости, – каким только и может желать быть настоящий буддист. Он никогда не сердился за мои насмешки, ни разу не отвечал на мои нетерпеливые сарказмы. Он только просил меня ждать, когда придет мое время, говоря, что только тогда я получу право слова.

Не принимал он всерьез и мое отрицание какого-либо бога или богов. Полный смысл слов «атеизм» и «скептицизм» был за пределами понимания его ума, во всех прочих отношениях весьма проникательного. Подобно некоторым набожным христианам, он был, похоже, не в состоянии осознать, что всякий разумный человек должен предпочесть мудрые заключения философии и современной науки смехотворным верованиям в невидимый мир, полный богов и духов, демонов и джиннов. Он настаивал: «Человек – существо духовное, которое не раз возвращается на землю, а в промежутках между этим получает награды и наказания». Тезис, что человек – не более чем груда организованной материи, был ему недоступен. Как и Джереми Кольер<sup>17</sup>, он отказывался допустить, что он не более чем «ходячая машина, говорящая голова без души, мысли которой обусловлены законами движения». «Ведь если бы мои действия, как вы говорите, были бы predetermined заранее, – возражал он, – и я имел бы не больше возможности или свободы воли изменить ход своих действий, чем течение вон той реки, тогда бы

---

<sup>12</sup> Дайбуцу, Тион-ин, Инари-но Ясиро, Киёмидзу, Хигаси Хонгвандзи.

Дайбуцу – Большой Будда – бронзовая статуя Будды высотой 14,98 м, находящаяся в японском городе Нара (40 км от Киото) в храме Тодайдзи, там же в Нара находится колокол весом 21 т и более 4 м высотой.

Тион-ин – главный храм японской буддийской школы Дзёдо-сю в Киото.

Инари-но Ясиро – синтоистский храм в честь Инари – бога урожая.

Киёмидзу – буддийский храм школы хоссо в Киото.

Хигаси Хонгандзи – главный храм японской буддийской школы Дзёдо-Син в Киото.

<sup>13</sup> Бонза (*фр.* bonze) – европейское название буддийского священника в странах Азии.

<sup>14</sup> То есть обладающие меланхолическим темпераментом. Меланхолия – *др.-греч.* μελαγχολία, μέλας черный, темный + χολή желчь, гнев.

<sup>15</sup> Каннон – в японской мифологии богиня милосердия.

По всей видимости, речь идет о статуе богини Каннон в буддийском храме Сандзюсангэн-до в Киото.

<sup>16</sup> В тексте рассказа используется также написание «Хидейхери». В англоязычном тексте рассказа: Hideyeri.

<sup>17</sup> Кольер Джереми (1650–1726) – английский богослов.

величественное учение о карме, о заслугах и промахах, было бы действительно глупостью».

Таким образом, вся онтология моего сверхметафизического друга покоилась на шатком основании переселения душ, воображаемом «справедливом» законе воздаяния и прочих столь же абсурдных мечтаниях.

Однажды он парадоксально заметил:

– Мы не можем надеяться на то, что будем жить после смерти, сохранив полное сознание, если заранее не построим твердое и надежное основание для духовности. Нет, не смейся, о мой неверующий друг, но лучше подумай и поразмышляй над этим. Тот, кто никогда не мыслил своей жизни в Духе в течение своей сознательной и ответственной жизни на земле, вряд ли может надеяться на разумное существование после смерти, когда будучи лишен тела, он будет ограничен одним лишь этим Духом.

– Что же вы подразумеваете под жизнью в Духе? – спросил я.

– Жизнь на духовном плане, который буддисты называют *тушита дэвалока* (рай). Такое блаженное существование между воплощениями человек может создать для себя путем постепенного переноса на этот план всех способностей, которые во время его пребывания на земле проявляются через его органическое тело и, как вы называете это, животный мозг.

– Как нелепо! И как человек может этого достичь?

– Созерцанием и сильным желанием слиться с благословенными богами.

– А если он откажется от этого высокоинтеллектуального занятия, под коим, как я полагаю, вы разумеете сосредоточение на кончике носа, что же станет с ним после смерти тела? – насмешливо спросил я.

– То, что с ним произойдет, будет соответствовать преобладающему состоянию его сознания, а этих состояний есть множество градаций. В лучшем случае – немедленное перевоплощение, в худшем – состояние *авичи* (мысленный ад). Но вовсе не нужно быть аскетом, чтобы усвоить духовную жизнь, которая продлится и после смерти. Все, что требуется, – прилагать усилия и стараться приблизиться к Духу.

– Как же так? Даже если не веришь в него?

– Даже так! Можно не верить и все же оставлять в своей натуре место сомнению, каким бы малым оно не было, и однажды попытаться, пусть на мгновение, открыть дверь в свой внутренний храм. И этого может оказаться достаточно.

– Вы очень поэтичны и парадоксальны с головы до пят, милостивый государь. Не объясните ли вы мне чуть больше из этой тайны?

– Больше нечего объяснять, но я попытаюсь. Представьте на мгновение, что тот неизвестный храм, в котором вы никогда не были раньше и существование которого у вас есть все причины отрицать, и есть духовный план, о котором я говорю. Кто-то берет вас за руку и подводит к входу. Любопытство заставляет вас открыть дверь и заглянуть внутрь. Самим этим действием, войдя туда лишь на секунду, вы устанавливаете вечную связь между своим сознанием и этим храмом. Вы больше не можете ни отрицать его существования, ни отменить факт вашего вхождения туда. А сообразно характеру и виду ваших действий в его священной ограде вы станете жить в нем после того, как ваше сознание разорвет связи с плотью.

– Что вы под этим подразумеваете? И какое отношение мое посмертное сознание, если оно вообще может существовать, имеет отношение к этому храму?

– Только к нему и имеет, – торжественно ответил старик. – После смерти не может быть самосознания вне храма Духа. Только то, что вы сделали на его плане, и сохранится. Все же остальное – ложно, и лишь иллюзия. Оно обречено на исчезновение в океане майи.

Меня позабавила идея о жизни вне своего тела, и я попросил моего старого друга рассказать мне об этом побольше. Будучи в заблуждении относительно моих мотивов, почтенный человек охотно согласился.

Он принадлежал к храму Тци-о-нене<sup>18</sup>, буддийского монастыря, столь же известного в Тибете и Китае, как и во всей Японии. В Киото нет другого, более священного. Его монахи принадлежат к секте Дзено-ду<sup>19</sup> и считаются учнейшими между столькими другими учеными братствами. Вдобавок к этому, они находятся в дружбе и союзе с отшельниками-аскетами, последователями Лао-тце<sup>20</sup>, известными под названием *ямабузи*<sup>21</sup>.

Потому неудивительно, что при малейшем подстрекательстве с моей стороны священнослужитель пустился в высшую метафизику, надеясь тем излечить меня от моего неверия.

Здесь нет нужды повторять эту длинную белиберду, излагавшую безнадежно запутанную и самую непонятную из всех доктрин. По его идее, готовясь к иному миру, мы должны тренироваться в духовности, подобно тому, как делают гимнастику. Продолжая свою аналогию между храмом и «духовным планом», он так попытался проиллюстрировать свою идею. Сам он работал в храме Духа две трети своей жизни, уделяя каждый день несколько часов «созерцанию». Таким образом, *он узнал* (?!), что после того, как ему придется отбросить свою брэнную оболочку (которая, как он объяснил, «просто иллюзия»), в своем духовном сознании он снова проживет все чувства облагораживающей радости и божественного блаженства, какие только у него были или *должны были быть*, но только в сотню раз усиленные. Он сказал, что его труды в духовном храме были значительны, а потому он надеется, что пропорциональны им будут и заработки.

– Но предположим, работник, как в только что приведенном вами примере в связи со мною, всего лишь приоткрыл дверь храма из любопытства и заглянул туда, чтобы никогда больше не направлять туда свои стопы. Что тогда? – поинтересовался я.

– Тогда, – ответил он, – на вашем счету для будущего самосознания запишется лишь краткая минута и не более. Наша загробная жизнь содержит и повторяет лишь впечатления и чувства духовного опыта, который у нас когда-либо был, и ничего более. Так что, если входя в обитель Духа, вы вместо почтения держали в своем сердце страх, ревность или скорбь, тогда ваша будущая духовная жизнь будет поистине печальной. Ведь в нее ничего не удалось записать, кроме открытия двери в припадке плохого настроения.

– Как же тогда это может повторяться? – настойчиво спрашивал я, поскольку это меня весьма забавляло. – Чем же по-вашему я буду заниматься, прежде чем воплотиться опять?

– В этом случае, – медленно сказал он, взвешивая каждое слово, – я боюсь, что *вам придется лишь открывать и закрывать дверь храма – снова и снова, в течение периода, который, каким бы коротким он ни был, будет казаться вам вечностью.*

Такой род посмертных занятий показался мне тогда столь гротескным в своей утонченной абсурдности, что я разразился приступом смеха и никак не мог остановиться.

Мой почтенный друг выглядел заметно напуганным результатом, который произвели его метафизические наставления. Очевидно, он не ожидал, что это меня так развеселит.

---

<sup>18</sup> Тион-ин.

<sup>19</sup> Дзэдо-сю.

<sup>20</sup> Лао-цзы (Lao-Tzu, VI век до н.э.) – древнекитайский философ, один из основателей учения даосизма, автор трактата «Дао Дэ Цзин».

<sup>21</sup> В тексте используется также написание «ямма-бузи». В англоязычном тексте рассказа: Yamabooshi.

«Ямабуши или Ямабуси (яп.) Секта очень древних и почитаемых мистиков в Японии. Они являются «активными» монахами, и если необходимо – воинами, подобно определенным йогам в Раджпутане и ламам в Тибете. Это мистическое братство живет в основном недалеко от Киото и знаменито своими способностями врачевания, как говорится в «Энциклопедии, где это слово переводится как «братья-отшельники»: «Они претендуют на владение магическими искусствами, и живут в убежищах в горах и скалистых отрогах, откуда они выходят, чтобы *предсказывать судьбу* (?), писать заклинания и продавать амулеты. Они ведут таинственную жизнь и не допускают никого к своим тайнам, кроме как после утомительной и трудной подготовки постом и разновидности суровой гимнастической тренировки»» (Блаттская Е.П. Теософский словарь. М., 1998. С. 484).

Однако он ничего не сказал, а лишь вздыхал и смотрел на меня с добрым состраданием, сиявшим из его маленьких черных глаз.

– Ради Бога, простите мне мой смех, – извинился я. – Но правда, вы серьезно хотите сказать, что «духовное состояние», которое вы защищаете и в которое так твердо верите, состоит лишь в том, что мы как обезьяны будем повторять некоторые вещи, которые делали при жизни?

– Нет-нет, не как обезьяны, но усиливая это повторение и заполняя прорехи, которые несправедливо были оставлены незаполненными, когда мы получали плоды наших дел и всего того, что было совершено нами на духовном плане единственного реального состояния. То, что я сказал, было лишь иллюстрацией, причем несомненно, что для вас, совершенно несведущего в тайнах *видения души*, она оказалась не очень понятной. Лишь меня можно за это винить... То, что я хотел донести до вас, это, что духовное состояние нашего сознания, освобожденного от тела, есть всего лишь плоды всех духовных действий, совершенных при жизни. А когда поступок бесплодный, никаких результатов ожидать не приходится – кроме повторения самого этого поступка. Вот и все. Надеюсь, у вас в запасе есть такие, и вы сможете увидеть некоторые истины.

И произнеся несколько традиционных японских вежливых прощальных выражений, этот замечательный человек удалился.

Увы! Знай я тогда то, что узнал потом, я бы не смеялся, а постарался узнать побольше!

Но чем более я удивлялся его обширным сведениям и научался любить его лично, тем менее я мог помириться с его дикими идеями о возможности некоторыми из смертных приобретать сверхъестественные дары. Я чувствовал ужасную досаду за выказываемое им почитание ямабузиев – религиозных союзников всех буддистских сект в стране. Их притязания на «чудотворство» были невыносимо противны моим материалистичным понятиям. Слышать, как каждый из моих киотских знакомых, – включая японского товарища по фирме, одного из самых тонких хитрецов, которых я когда-либо знал на Востоке, – говорит об этих последователях Лаотце не иначе как с опущенными долу глазами, с набожно сложенными вместе ладонями, как перед идолом, и с подтверждениями об их «великих», «изумительных» дарах, – не хватало моего терпения! И кто такие они, эти великие *маги*, с их карикатурными претензиями на знание *всех* тайн природы; эти «святые нищие», живущие, как я тогда воображал, *нарочно* в дебрях и гротах непосещаемых горных ущелий на почти недосыгаемых вершинах, чтобы отнять у любопытных всякую возможность следить за ними и узнать их тайны. Кто они такие?.. Просто – нахальные *ворожеи*, гадальщики на картах, японские цыгане, продающие талисманы и амулеты, – и ничего более!..

Меня пытались убедить, что хотя ямабузи ведут таинственную жизнь, они все же принимают учеников (как бы ни было трудно стать таковым), а потому есть живые свидетели чистоты и святости их жизни. Отвечая им, я говорил, что и те и другие – дураки, в том случае, когда не жулики, заходя так далеко, что причислял к ним и синтоистов. Синто – «вера в богов и их пути», вера в возможность общения с этими существами и разновидность поклонения духам природы. Едва ли что может быть более нелепо, но ставя синтоистов в один ряд с дураками и мошенниками других сект, я нажил много врагов. Ибо синто каннуси (их духовные учителя) считаются высшим классом общества и главой их иерархии является сам микадо<sup>22</sup>, а среди членов этой секты – самые культурные и образованные люди Японии. Эти каннуси не составляют отдельной касты или класса и не проходят никакого рукоположения – по крайней мере, известного посторонним. А поскольку они не притязают ни на какие привилегии или власть, то и по одежде ничем не отличаются от мирян, будучи в глазах последних просто учителями и учениками оккультных и духовных наук, и мне часто приходилось общаться с ними, нисколько того не подозревая.

---

<sup>22</sup> Древний титул японского императора.



## II Таинственный посетитель

Шли годы, и со временем мой неискоренимый скептицизм только укреплялся и становился яростнее с каждым днем. Я уже упоминал очень любимую мною старшую сестру. Она вышла замуж и с тех пор уехала жить в Нюрнберг. Я относился к ней скорее как к дочери, чем как к сестре, и ее дети для меня были дороги, как мои собственные. Во время великой катастрофы, в ходе которой мой отец потерял свое большое состояние, а сердце моей матери было разбито, именно моя любимая сестра сделалась ангелом-хранителем бедствующей семьи. Из любви ко мне, младшему брату, для которого она пыталась заменить учителей, оплату которых мы уже не могли себе позволить, она отказалась от своего собственного счастья. В своей неразделимой преданности она пожертвовала собой и любимым человеком, на неопределенный срок откладывая свадьбу, чтобы помочь отцу и, главное, мне. Как я ее любил и почитал! И время лишь укрепляло эту семейную привязанность. Те, кто утверждают, что атеист не может быть настоящим другом, любящим родственником или верным гражданином, говорят, сознательно или бессознательно, величайшую клевету. Говорить, что материалист по мере того, как стареет, черствеет сердцем и не может любить, как любит верующий, это просто большая глупость.

Конечно, такие исключительные случаи бывают, но они случаются лишь иногда и с людьми, которые больше эгоисты, чем скептики, и имеют лишь грубо мирские интересы. Но у человека по природе доброго, который стал неверующим лишь на основе разума и из-за любви к истине, семейные связи и симпатия к своим братьям только крепнут. Все его эмоции, все горячие устремления к невидимому и недоступному, вся любовь, которую он иначе мог бы бесполезно расточать на воображаемые небеса и Бога, теперь с удесятенной силой направляются на тех, кого он любит и на все человечество. Поистине, лишь атеист

...может знать,  
Какие скрытые волны тихого удовольствия текут,  
Когда любят братья<sup>23</sup>...

Именно такая святая братская любовь и заставила меня пожертвовать своим комфортом и личным благополучием, чтобы обеспечить счастье той, которая была для меня больше, чем мать. Я был совсем молодым, когда покинул дом и отправился в Гамбург. Там, работая с отчаянной честностью человека, имевшего одну цель – помочь тем, кого он любит, и ослабить их страдания, я очень скоро завоевал доверие своих работодателей и был назначен на высокую должность. Моей наградой в жизни и моим истинным удовольствием было видеть, как моя сестра вышла замуж за человека, которым, было, пожертвовала ради меня, и помогать им в борьбе за существование. Моя любовь к ней была столь очищающей и бескорыстной, что распространившись и на детей сестры, она от этого нисколько не ослабла, а кажется, даже усилилась. Будучи рожден с возможностью самых горячих семейных чувств, я был так предан сестре, что мысль о том, что можно возжечь этот священный огонь любви перед каким-то иным идолом, кроме ее и ее семьи, никогда не приходила мне в голову. Это была единственная церковь, которую я признавал, в которой я служил у алтаря священной семейной любви. Фактически, эта большая семья из одиннадцати человек, включая ее мужа, была единственным, что связывало меня с Европой. За девять лет я дважды пересекал океан с единственной целью увидеть этих дорогих мне людей и прижать их к своему сердцу. У меня не было других дел на Западе, и, исполнив этот приятный долг, я каждый раз возвращался в Японию, чтобы продолжить трудиться для них. Именно ради них я остался

---

<sup>23</sup> Строки принадлежат английскому поэту и критику Э.Юнгу (1683–1765).

холостяком, дабы зарабатываемые мною средства не приходилось делить и они бы направлялись только им одним.

Мы всегда переписывались так часто, как позволяло долгое и нерегулярное курсирование почтовых судов. Внезапно письма из дома перестали приходить. Почти год я не получал вестей, и день ото дня я все больше терял покой, предчувствуя какое-то большое несчастье. Зря я ждал хотя бы простой весточки, и все мои попытки объяснить такое необычное молчание были бесплодными.

– Друг, – сказал мне однажды Тамура Хидерейи, единственный, кому я мог довериться, – обратитесь за консультацией к святому ямабузи, и вы вернете себе покой.

Конечно, это предложение было мною отвергнуто в столь вежливой форме, какую при такой провокации я мог себе позволить. Но пароход за пароходом приходил без вестей, и я стал погружаться в отчаяние, которое с каждым днем становилось только темнее и глубже. Наконец оно выродилось в неукротимую страсть, болезненное желание узнать, и узнать худшее, как я тогда думал. Я отчаянно боролся с этим чувством, но оно победило. Лишь за несколько месяцев до того я полностью владел собой, а теперь стал жалким рабом страха. Фаталист школы Гольбаха, всегда считавший веру в систему необходимости единственным источником философского счастья, как имеющую самое лучшее преимущество над человеческими слабостями, я чувствовал жажду чего-то вроде предсказания судьбы! Я зашел так далеко, что позабыл первейший принцип своей доктрины, единственной, рассчитанной на то, чтобы успокоить наши печали и вдохновить нас рациональным принятием всех решений слепой судьбы (которые так часто подавляют нас из-за того, что мы предаемся глупой чувствительности), – той доктрины, что *все неизбежно и происходит по необходимости*. Забыв это, я впал в постыдное, глупое и суеверное желание узнать, – если не будущее, то, по крайней мере, происходящее на другой стороне земного шара. Мое поведение, похоже, сильно изменилось, равно как мой темперамент и мои устремления, и подобно слабой нервной девушке, я ловил себя на том, что напрягаю свой ум до самой грани безумия в попытке взглянуть через океаны и, наконец, узнать настоящую причину долгого, необъяснимого молчания!

Однажды вечером, на закате, на веранде моего низенького деревянного домика появился мой старый друг, почтенный бонза Тамура. Я не посещал его много дней, и он зашел проведать меня. Я не упустил возможности насмеяться над тем, к кому в действительности относился с самым любящим уважением. С двусмысленностью, – о которой я пожалел чуть ли не до того, как произнес это, – я спросил его: зачем он взял на себя труд пройти такое расстояние, когда мог узнать обо мне все, что пожелает, просто спросив ямабузи? Похоже, поначалу он несколько обиделся, но рассмотрев мое удрученное лицо, он мягко заметил, что может лишь настаивать на том, что советовал раньше, и что в нынешнем моем состоянии только тот священный орден мог бы дать мне утешение.

С того самого момента мной завладело безумное желание бросить ему вызов, проверив его утверждения. Пусть любой из его воображаемых магов попробует назвать мне имя человека, о котором я думаю, и что он делает в данный момент, – сказал я ему. Он спокойно ответил, что мое желание может быть легко исполнено. Всего в двух домах от меня как раз оказался один ямабузи, пришедший к заболевшему синтоисту. Одно мое слово, и он его позовет.

Я сказал его, и *с этого момента моя судьба была решена*.

Как мне найти слова, чтобы описать последовавшую сцену! Через двадцать минут после того, как я столь опрометчиво высказал свое желание, передо мной уже стоял старый японец, необычно высокий и величественный для этой нации, бледный и тощий – скорее, даже истощенный. Вместо ожидаемой услужливости я увидел достоинство, спокойствие и хладнокровие человека, сознающего свое моральное превосходство и способного позволить себе презрительно не замечать ошибок тех, кто еще не смог его распознать. Он не ответил на мои вопросы, заданные в несколько насмешливом и

неуважительном тоне, которые я лихорадочно задавал один за другим, а молча смотрел на меня, как смотрит врач на бредящего пациента. Как только он посмотрел мне в глаза, я почувствовал, или вернее увидел – как если бы это был острый луч света – тонкую серебряную нить, выстрелившую из его черных и глубоко посаженных глаз. Казалось, что она проникает в мой мозг и мое сердце, как стрела, и извлекает оттуда все мои мысли и чувства. Да, я и видел, и чувствовал ее, и очень скоро это двойное чувство стало невыносимым.

Чтобы разрушить чары, я потребовал, чтобы он сказал, что он обнаружил в моих мыслях. И спокойно последовал верный ответ – крайнее беспокойство за родственницу, ее мужа и детей, живущих в доме, верное описание которого он дал так, будто знал его так же хорошо, как и я. Я с подозрением посмотрел на своего друга бонзу, чья неосмотрительность, как я подумал, и послужила причиной этого быстрого ответа. Вспомнив, однако, что Тамура не мог знать внешнего вида дома моей сестры, а также зная вошедшую в поговорку правдивость японцев, а в дружбе – верность до смерти, я устыдился своих подозрений. Для очистки совести я спросил отшельника, может ли он что-то сказать о нынешнем состоянии моей любимой сестры. Иностранец, последовал ответ, никогда не поверит ничьим словам и не станет доверять знаниям ни одного человека, кроме себя самого. Даже если бы ямабузи все рассказал, впечатление от этого изгладилось бы уже через несколько часов и вопрошатель оказался бы в таком же горестном состоянии, как и раньше. Есть лишь одно средство – сделать так, чтобы иностранец (то есть я) увидел все собственными глазами и сам узнал правду. Готов ли он к тому, чтобы совершенно ему незнакомый ямабузи ввел его в нужное для этого состояние?

Я слышал в Европе о месмеризированных сомнамбулах, претендующих на ясновидение, и, нисколько в них не веря, потому не имел ничего против самого процесса. Даже среди непрекращающейся агонии ума я не мог сдерживать улыбки, потешаясь над смехотворным характером операции, которой я добровольно соглашался подвергнуться. Тем не менее, я молчаливо поклонился в знак согласия.

### III

#### Психическая магия

Старый ямабузи не стал терять времени; он посмотрел на заходящее солнце и, найдя, вероятно, властелина *Тень-Зио-Дайзина*<sup>24</sup> (духа, мечущего стрелы) благоприятным для приготовляемой им церемонии, проворно вынул из-под платья маленький узелок. В нем была небольшая лаковая шкатулка, кусок растительной бумаги, сделанной из коры шелковичного дерева, и перо, которым он начертал на ней несколько строк *найденскими* письменами – особенный род букв, употребляемый только в религиозных или мистических документах. Кончив, он снова полез в карман и вытащил из него небольшое круглое зеркальце из стали, необычайно блестящей полировки, в которое, держа его перед моими глазами, он и попросил меня смотреть, не отрывая глаз.

Я уже знал и прежде о таких зеркалах и то, что они в употреблении только в некоторых храмах, где я их не раз видал. Туземцы находятся в полной уверенности, что под управлением и волею их адептов и магов *дай[д]ж-дзины*, великие духи, открывают вопрошающим всю их судьбу. Я тотчас же вообразил, что ямабузи собирался вызвать такого духа, чтобы тот отвечал на мои вопросы. То, что случилось, однако, в действительности, оказалось совершенно неожиданным.

Как только я, не без последних угрызений совести, поскольку чувствовал свое нелепое положение, коснулся зеркала, я внезапно почувствовал странное ощущение в держащей его руке. На краткий миг я забыл свое насмешливое отношение и уже не мог

---

<sup>24</sup> Тэндзэ Дайдзина.

видеть это дело в смешном свете. Был ли это страх, охвативший мой мозг и на мгновение парализовавший его деятельность, –

...тот страх,  
Когда сердце хочет узнать, какова смерть<sup>25</sup>?

Нет, ибо у меня оставалось достаточно сознания, чтобы продолжать убеждать себя, что из этого опыта, в природу которого не поверит ни один здравомыслящий человек, ничего не получится. Что же это тогда было, что кралось через мой мозг, подобно живой ледышке, производя ощущение ужаса, а затем впилось мне в сердце, как смертоносная змея? Моя рука конвульсивно дернулась и я выронил – стыжусь писать это прилагательное – «магическое» зеркало и не смог уже заставить себя поднять его с дивана, на который я откинулся. Краткий миг прошел в страшной борьбе между неопределенным и крайне необъяснимым для меня желанием посмотреть в глубины полированной поверхности зеркала и моей гордостью, свирепости которой похоже ничто не было в состоянии укротить. Однако, наконец, она была укрощена и ее бунт подавлен ее собственной вызывающей силой. На лакированном столике возле дивана лежала открытая книга с романом, и когда мой взгляд упал на ее страницы, я прочитал: «Завеса, скрывающая будущее, ткется руками милосердия». Этого было достаточно. Та же гордость, которая до тех пор удерживала меня от того, что я считал унижительным и суеверным экспериментом, заставила меня испытать судьбу. Я взял зловеще сияющий диск и приготовился в него смотреть.

Пока я смотрел в зеркало, ямабузи сказал поспешно и тихо несколько слов бонзе Тамуре, а я тотчас же окинул обоих быстрым и подозрительным взглядом, но был снова пойман в несправедливости.

– Святой муж, – сказал бонза, – желает, чтобы я сделал вам вопрос и в то же время дал бы вам предостережение. Если вы решились *видеть то, что вы так желаете, сами и теперь же*, то вам придется подвергнуться регулярному процессу очищения, после того как вы узнаете посредством зеркала всю правду. Иначе вы подвергнете себя в будущем и до конца вашей жизни видеть все, касающееся до вас, – а иногда даже и не прямо касающееся, – и происходящее на каком бы то ни было от вас расстоянии и против вашей воли. Вследствие этого, он и просит вас согласиться на обряд очищения, так как он никогда не мог бы простить себе впоследствии, что не предупредил вас заранее. Он считал бы себя виноватым в том, что, поступив согласно с вашим желанием, он тем самым превратил вас в *невменяемого* ясновидящего. Согласны ли вы, друг, дать ему такое обещание?

– Об этом будет время подумать после, когда – или, скорее, *если* – я что-нибудь увижу, – уклончиво ответил я и подумал: «А в этом-то именно я пока весьма сомневаюсь».

– Очень хорошо; только не забывайте, друг, что вы получили предостережение. Последствия да останутся с этой минуты на вашей совести...

Я взглянул на стенные часы и у меня вырвался жест нетерпения, ясно понятый ямабузи. *Было ровно семь минут шестого.*

– *Определите мысленно и с величайшей точностью то, что вы желали бы видеть и узнать*, – сказал он, передавая мне в руки зеркало и исписанный им лоскуток бумаги с наставлением, как с ним поступить.

На это я отвечал, глядя в зеркало:

– *Я желаю одного – узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать.*

Произнес ли я эти слова громко и в присутствии моих двух свидетелей или же только *мысленно*?.. До сего дня этот вопрос остался для меня неразрешенным. Вспоминаю ясно лишь одно: пока я сидел, вперив глаза в зеркало, ямабузи, в свою очередь, не сводил с меня глаз. Но

---

<sup>25</sup> Строки из поэмы «Ангел мира» английского религиозного деятеля, проповедника и литератора Д.Кроули (1780–1860).

длилось ли это три секунды или же три часа, я никогда не мог бы решить... если бы не одно обстоятельство, случившееся после того, как я уже пришел в себя, о котором скажу далее. Я могу дать себе отчет в происшедшем только до той минуты, когда, твердо обхватив *зеркало* левой ладонью и пальцами и держа бумагу с мистическими письменами между указательным и большим пальцами правой руки, – я потерял внезапно и без малейшего, казалось, перехода всякое сознание об окружающих меня предметах. Этот переход от деятельного состояния бдения к такому, которое мне невозможно объяснить на словах тому, кто никогда *сам* не испытывал чего-либо подобного, – был так быстр, что в то самое время когда мои глаза вдруг перестали видеть перед собою бонзу, ямабузи и даже комнату, а я сам, как мне казалось, лишился всякого сознания о внешних предметах, – я все-таки продолжал ясно видеть (к своему удивлению впоследствии, *но не тогда*) собственную наклоненную над зеркалом голову и часть спины лежащей на диване фигуры, которая тоже оказалась моею. Затем я почувствовал сильный, словно произвольно данный мне, мною самим, толчок вперед, – *словно я оторвался от самого себя* и с занимаемого мною на диване места, – и тогда, как все прочие чувства оставались в полном бездействии, как бы парализованные, мои глаза, как мне показалось, вдруг совершенно неожиданно остановились на никогда не виданном, никогда не посещаемом мною доме сестры в Нюрнберге, в который она переехала после моего последнего визита к ней в Европу. Да, я видел ясно – гораздо яснее теперь, нежели в моем представлении о нем по письмам, – этот новый ее дом, как и разные другие, также до того времени незнакомые мне местности. Вместе с этим и с чувством как бы потухающего сознания в мозгу – умирающие так должны чувствовать – моя последняя, неясная мысль, столь слабая, что я едва ее мог уловить, была о том, что я должен был казаться присутствующим, в положении сомнамбула, очень, *очень* смешным!

Это *чувство*, – а это было скорее чувство, чем мысль, – было внезапно прервано ясным *умственным видением* (не могу это назвать иначе) себя, того, что я считал собой и знал как свое тело, с побледневшим лицом лежало на диване, мертвое во всех отношениях, но все еще уставившееся в зеркало остекленевшими глазами трупа. Над ним, истощенными руками рассекая воздух во всех направлениях над его белым лицом, склонилась высокая фигура ямабузи, к которому я в тот момент ощутил неистребимую, убийственную ненависть. Пока я собирался наброситься на подлого шарлатана, мое безжизненное тело, два старика, сама комната и каждый предмет в ней задрожали и заплясали в красноватом свете и стали быстро уноситься от «меня». Перед моим взглядом пронеслось еще несколько гротескных, искаженных теней, и с последним чувством ужаса и последней попыткой осознать, *кто же я теперь, если я не тот труп*, на меня подобно погребальному савану пала огромная завеса тьмы и каждая мысль во мне была мертва...

#### IV Ужасное видение

Как странно... но где же я теперь?... Было очевидно, что я уже пришел в себя, так как я живо сознавал, что двигаюсь вперед, ощущая вместе с тем, будто *без всякого* для того *с моей стороны произвольного* усилия и даже желания, я плыву в совершенной мгле. Первая поразившая меня мысль, скорее инстинктивная, нежели вследствие какой-либо причинности, – была та, что я нахожусь в длинном подземном проходе, полном воды, земли и удушливого воздуха, хотя *телесно* у меня не было ни представления, ни ощущения касательно присутствия или какого-либо соприкосновения с тем или другим элементом. Я попробовал повторить громко свою последнюю фразу: «Я желаю одного: узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать», – но из этих четырнадцати слов единственными, явно слышанными мною словами, были два: «желаю одного», да и эти, вместо того чтобы прозвучать из собственной гортани, дошли до меня, правда, произнесенными *собственным моим голосом*, но как бы совершенно *вне* меня, где-то близко, но не *из* меня. Одним словом, они были произнесены *моим* голосом, *но не мною*, не моими устами...

Еще одно быстрое, произвольное движение, еще раз я ныряю в непроницаемую тьму незнакомого мне элемента, и я вижу себя стоящим – буквально стоящим – как мне показалось, в какой-то подземной яме. Я был плотно окружен со всех сторон, над головой и под ногами, направо и налево, землю, но невзирая на это прикосновение, я не испытывал никакой тяжести, и эта земля казалась *моим физическим* (как я тогда думал) *чувствам* совершенно невещественной и прозрачной. Мне ни на одну секунду не представилась в то время вся нелепость, скажу более – невозможность такого, только *кажущегося* факта! Еще мгновение, одно короткое мгновение и я заметил, – о, невыразимый ужас, когда я думаю об этом *теперь*, потому что *тогда*, хотя я и видел, сознавал и запоминал в уме все факты и события с гораздо большей, нежели когда-либо в другое время ясностью представления, я, однако, не чувствовал себя ни тронутым, ни пораженным тем, что я видел, – я заметил у моих ног гроб. То был простой, сколоченный из досок, голый гроб, последнее ложе бедняка, в котором, невзирая на его плотно заколоченную крышку, я ясно различал отвратительный, с оскаленными зубами череп и весь исковерканный, сломанный и на многие части разбитый мужской скелет, который, казалось, был вынесен из залы пыток усопшей инквизиции, где его злополучный владелец был истолчен в порошок страшными орудиями этого средневекового «святого» учреждения.

«Кто бы это мог быть?..» – подумал я. В эту минуту я снова услышал *свой голос*... «*Знать причину*...» – произнес он эти слова так, как будто бы они были непрерывным продолжением одной и той же сказанной мною и теперь повторяемой фразы. Голос звучал близко, и вместе с этим словно он раздавался где-то далеко, невообразимо далеко, на другом конце земного шара, вынуждая меня к впечатлению, что все это долгое подземное странствование, последующие за ним размышления и открытия не имели никакой продолжительности, были совершены в короткий, почти мгновенный интервал времени между первыми и средними словами произнесенного мною желания; что они были начаты, во всяком случае, если в сущности и не произнесены вслух, моим голосом в Японии и теперь только окончены **отрывочными фразами, похожими на эхо моих собственных слов и моего голоса**...

Безобразные, изуродованные останки начали постепенно шевелиться под моим устремленным на них взглядом. Они преобразались, принимали для меня все более и более знакомый образ. Не торопясь и как бы с большой аккуратностью разбитые части соединялись одна с другою. Кости покрылись плотью, и – с чем-то похожим на удивление, но без малейшего чувства горя или даже волнения, я узнал в этих искалеченных останках Карла – мужа моей дорогой сестры, родного зятя. «Но как же это случилось, как мог он дойти до такой, по-видимому, ужасной смерти?» – задал я мысленно себе вопрос; а то состояние, в котором я тогда находился, очевидно, давало возможность к немедленному исполнению всякого моего желания.

Едва эта мысль промелькнула у меня в уме, как я увидел, словно в панораме, давно, как видно, прошедшую картину событий смерти бедного Карла во всей ее ужасающей реальности и до малейшей из ее страшных подробностей. Вот он стоит передо мною полный жизни и сил, надежд и радости, только что получивший от своего принципала<sup>26</sup> доходное место. Он рассматривает громадную, только что полученную лесопильную машину на их заводе; пробует в первый раз высланное им из Америки чудовище, и оно пытит, ревет и начинает двигаться под все увеличивающуюся силу пара. Он наклоняется над нею, чтобы лучше рассмотреть механизм внутренних колес и завинтить покрепче винт. Полы его рабочего платья попадают между зубцами крутящихся на полном ходу колес, и он мгновенно втягивается, потеряв равновесие, и падает вниз... Он скручен и истерзан в одно мгновение ока; и прежде, нежели знакомые с механизмом рабочие могут остановить ее, машина-чудовище уже отпилила и отбросила его ноги в отдел готовых досок! Его вынимают – или, скорее, оставшиеся от него куски – мертвого, истерзанного в клочки, ужас наводящей, какой-то неузнаваемой массой еще трепещущего мяса и крови! Я следую за его останками, сложенными под куском полотна на ручной тачке, которую тихо катят перед собою двое бледных, растерянных рабочих. Его отвозят в госпиталь, но тут раздается грубый голос лазаретного надсмотрщика, приказывающего свести эту «вещь» обратно, откуда взяли, домой, к вдове и сиротам, которые, быть может, примут на себя его похороны. «В больницы

---

<sup>26</sup> хозяина (англ. principal).

мертвых не принимают». Снова я следую за этой процессией смерти и нахожу веселое, ничего не подозревающее семейство в небольшой чистой столовой: оно ждет мужа и отца к обеду. Я вижу мою сестру, дорогую и многолюбимую, и остаюсь равнодушным зрителем сцены, чувствуя одно тупое любопытство узнать, чем все это кончится. Мое сердце, чувства, даже моя личность будто совершенно исчезли, передалась другому, которому они теперь и принадлежат, тогда как я сам, в своей новой личности, стою равнодушный и смотрю на разыгрывающуюся передо мною драму. Я вижу, как неприготовленная к постигнутому ее несчастью, сестра моя получает неожиданное известие. Я сознаю, мгновенно и безошибочно, без малейшего колебания, последствия этого ужасного для нее удара и с любопытством слежу за происходящим в ней занимательным внутренним психофизиологическим процессом. Слежу и запоминаю все до малейшей подробности, не забывая ничего.

Я слышу, во-первых, пронзительный, долгий, отчаянный крик, потом произнесенное сестрою мое имя, а затем глухой звук от тяжелого падения живого на останки мертвого тела. Далее я слежу за быстрыми, почти неуловимыми изменениями в ее мозгу и внимательно наблюдаю за червеобразным ускоренным и до чрезмерности напряженным движением трубчатых фибр; за мгновенной переменой цвета в головной оконечности нервной системы, за переходом волокнистого вещества нервов из белого в ярко-красный, а затем и в темно-красный, синеватый цвет. Замечаю, как внезапно вспыхивает фосфорическая, необычайно блестящая лучезарность в ее мозговой оболочке, вижу, как она мерцает, снова вспыхивает, дрожит, темнеет и, окончательно исчезнув, как все вокруг нее потухает... За этим наступает мрак – полнейшая, без малейшего проблеска в области памяти мгла, увеличивающаяся все более и более по мере того, как эта лучезарность, все удлиняясь и принимая, наконец, призрачную форму тела, вдруг как бы проскользнув через темя из головы, рассеивается и исчезает, а я говорю про себя: «Это – *безумие*, неизлечимое, на всю остальную жизнь помешательство, потому что принцип рассудка не временно заснул, но оставил свое хранилище навеки, изгнанный страшной силой внезапного удара. Связь между животной и божественной сущностями разорвана». Я даже мысленно посмеялся над тем, что произнес это незнакомое слово – «*божественная*». И за этой мыслью я снова и в третий раз слышу мой далекий и вместе с тем близкий «голос», произносящий возле меня с особенным ударением слова: «...Почему моя сестра так внезапно перестала ко мне писать...» Но еще до окончания последнего слова я вижу перед собою длинный, почти нескончаемый ряд несчастных событий.

Я вижу мать семейства, вследствие постигнутого ее удара, беспомощной, неизлечимой идиоткой в палате умалишенных при городской больнице, а детей в приюте нищих сирот. В довершение всего, я вижу племянников, мальчика пятнадцати лет и девочку годом моложе, моих двух любимцев, взятых в услужение незнакомыми людьми. Шкипер купеческого судна увозит первого, а старая жидовка *удочеряет* слабую здоровьем девочку. Да, я вижу все эти события со всеми, леденящими кровь, подробностями.

Заметьте: если я употребляю такие выражения, как «леденящие кровь», «ужасные» и т.д., они являются выражением лишь последующих моих чувств. Во все время вышесказанного видения я не ощущал ни горя, ни жалости. Чувства мои были, как уже сказано, парализованы так же, как и наружные ощущения. Только вернувшись «назад», я осознал во всей полноте весь ужас моих утрат.

Многое из столь яростно отрицавшегося мною тогда, я, в силу печального личного опыта, вынужден признать теперь. Если бы мне кто-то тогда сказал, что человек может действовать, мыслить и чувствовать вне всякой связи со своим мозгом и чувствами, и что какой-то таинственной и до сих пор для меня непостижимой силой *он* может быть *умственно* перенесен за тысячи миль от своего тела, чтобы стать свидетелем не только нынешних, но и прошлых событий, зафиксировав их в своей памяти, я бы заявил, что он сумасшедший. Увы, я больше не могу так поступить, ибо таким «сумасшедшим» стал я сам. Десять, двадцать, сто раз в течение этой моей несчастной жизни я переживал такие моменты существования *вне своего тела*. Будь проклят тот час, когда эта ужасная способность впервые пробудилась во мне! У меня не осталось даже последнего утешения – относить такие видения на расстоянии на счет своего сумасшествия.

Безумцы бредят, им видится то, чего нет в том мире, где они находятся. Мои же видения оказываются *неизменно верными*. Но вернусь к своему грустному рассказу.

Едва я успел увидеть свою племянницу в ее новом израильском семействе, как снова почувствовал такой же толчок, как и тот, что заставил меня *плыть* (как мне показалось) над земною поверхностью. Я открыл глаза и первый бросившийся мне в глаза предмет случайно и безо всякого на то с моей стороны желания – были стенные часы. Стрелки показывали ровно *семь с половиною минут шестого!*.. Таким образом, я прошел через весь этот страшный опыт, для пересказа которого требуется несколько часов, *ровно за полминуты!* Но понимание этого опять же пришло ко мне позже.

В продолжение одной или двух секунд я ничего не помнил из виденного мною. Интервал между временем, когда я взял из рук ямабузи зеркало, и моим последним взглядом на часы, казался мне слившимся в одно, и я только что приготавливался просить ямабузи поспешить с его опытом надо мною, когда с быстротою молнии полное воспоминание о случившемся вдруг мелькнуло у меня в уме, обдав мозг словно кипятком. Испустив крик ужаса и отчаяния, я почувствовал, будто на меня свалилась, раздавливая своею тяжестью, вся вселенная. С минуту я оставался безмолвным, чувствуя себя олицетворением человеческой развалины среди целого мира смерти и опустошения. Биение сердца остановилось; я задыхался. Свершилась моя судьба, и безрассветная мгла покрыла навеки, будто траурной пеленою, весь остаток моей жалкой жизни.

## V

### Возврат к сомнениям

Но затем так же быстро, как и мое отчаяние, явилась реакция. Сомнение закралось в душу, которое и разгорелось немедленно в свирепое желание отвергнуть возможность действительности всего виденного мною; упрямое решение взирать на случившееся как на пустой, бессмысленный сон, на эффект расслабленного долгим беспокойством воображения. Дух отрицания овладел мною неудержимо. Да, то было лишь лживое видение, нелепый фокус, произведенный с моими чувствами, вдруг представившими мне картины смерти и страдания вследствие целых недель и месяцев моего нравственного и нервного состояния.

– Как *мог* я видеть все то, что я видел и слышал, *в менее, нежели полминуты?!* – воскликнул я. – Одна только теория о сновидениях, быстрота, с которой вещественные изменения – от коих зависят идеи в наших снах – возбуждаются в гемисферических<sup>27</sup> наростах, может объяснить тот длинный померещившийся мне ряд событий в такой – короткий интервал времени. В одних сновидениях может так бесследно исчезать и уничтожаться всякое отношение между пространством и временем. Ямабузи ни при чем в этом неприятном кошмаре. Он воспользовался и пожинает лишь то, что посеяно мною самим; посредством какого-то адского, тайного, одним этим обманщикам известного зелия ему удалось заставить меня впасть на несколько секунд в бесчувственное состояние и *вообразить* видение – отвратительное и ужасное, но настолько же и лживое!.. Прочь от меня такие мысли! Я им не верю... Еще несколько дней терпения и в Европу должен отправляться пароход... Завтра же я уезжаю из Киото!

Этот бессвязный монолог я проговорил громко, невзирая на присутствие моего уважаемого друга Тамуры и ямабузи. Последний стоял передо мною в той же позе, когда вручил мне зеркало, и продолжал глядеть на меня, или правильнее выражаясь, глядеть *сквозь* меня – спокойно и в величавом молчании. Бонза, добродушное и кроткое лицо которого выражало самое искреннее ко мне участие, приблизился ко мне, точно к больному ребенку, и ласково положил свою руку на мою:

– Друг, – сказал он, – ты не должен уезжать отсюда до твоего полного очищения от соприкосновения с низшими духами – *дайдж-дзинами*, использованными, чтобы провести вашу неопытную душу в места, которые она жаждала увидеть, и не приняв мер к ограждению твоей души от нападений этих неразвитых темных сил природы. Ты *должен*

---

<sup>27</sup> полушарных (*греч.*).



позволить нам запереть вход к ней... Потому не теряй времени, сын мой, и позволь святому учителю сразу же очистить тебя.

Но ничто не может быть более глухо, чем раз пробужденный гнев. «Глоток мудрости» больше не мог «погасить огонь страсти», и в тот момент я был не расположен слушать его дружеские увещевания. Хотя я не вспоминаю его лица и не произношу его имени без прилива настоящих дружеских чувств, в тот памятный час мои страсти были накалены добела и я ощущал почти ненависть к этому доброму старику и не мог простить его вмешательства в дело.

Потому вместо благодарности он получил от меня суровый и грубый отказ, поток насмешек над его идеей, что я способен усмотреть в этом видении что-либо, кроме пустого сновидения, а в ямабузи – нечто более наглое фокусника.

– Я выезжаю завтра же, [даже] если бы мне пришлось для этого потерять все мое состояние! – воскликнул я.

– Вам придется раскаиваться целую жизнь, если вы оставите Киото прежде, чем очиститесь от влияния темных сил... А это может быть совершено только этим святым старцем!.. – испуганно уговаривал меня бонза. – Дайдж-дзины всегда настороже у открытых дверей и они вас одолеют!..

Я прервал его грубым смехом и еще более грубо осведомился о размере *платы*, должной мною этому «святому старцу» за сделанный им надо мною *опыт*.

– Ему не нужны ваши деньги, – получил я в ответ. – Он принадлежит к самому богатому в мире Братству – члены его ни в чем не нуждаются, возвысь над всем земным, а стало быть, и над жаждою к богатствам. Не оскорбляйте кроткого и доброго человека, который пришел к вам на помощь единственно из чистого сострадания к вашему горю и с желанием облегчить его...

Но я отказался внимать этим разумным и мудрым речам. Дух гордости и возмущения овладел мною неудержимо, заставил забыть всякое чувство личного уважения и дружбы и довел меня до забвения простого приличия. Счастьем было для меня то, что когда в бешенстве я, было, повернулся к престарелому аскету с намерением выгнать его из дома как обманщика, его уже не было в комнате.

Я не заметил, как он вышел, а позднее вспомнил, что, решившись подвергнуть себя его чарам, сам запер входную дверь на ключ, который и лежал на столике нетронутым. Как мог он выйти? Но в ту минуту я приписал его исчезновение трусливому бегству вследствие того, что я вывел его на чистую воду.

О безумный, слепой, тщеславный идиот! Зачем отказывался я тогда признать могущество ямабузи, как не понял, не сознал я в ту роковую для меня минуту, что с его удалением разрушалось навеки спокойствие целой жизни моей!.. Но я не сознавал в то время ничего подобного. Даже роковой демон, вызвавший всю эту сцену, – неизвестность о судьбе любимых, – оказался теперь вполне покоренным более могущественным бесом, хотя неразумнейшим из всех, – слепым скептицизмом. Тупое, болезненное неверие, упрямое отрицание очевидности собственных чувств и непоколебимая решимость взирать на все видение как на фантазию моего усталого, измученного догадками мозга овладели мною бесповоротно. Так велико было мое ослепление, что я даже не обратил внимания на благоразумный совет моего старого друга бонзы, советовавшего мне телеграфировать нюрнбергским властям о моем скором приезде и, в случае какого-либо несчастья с родителями, просить их приказать присмотреть за детьми. Я отверг совет с полным презрением. Последовать ему равнялось сознанию, что в моем глупом видении могла быть хоть какая-то доля правды, что я допускал возможность прозревать события на другом конце света *внутренним душевным зрением* (нелепое выражение!) и что в том, наконец, что мне пригрезилось, было нечто более химеры пустого сновидения.

– Мой разум, моя душа, – я рассуждал, отвечая на увещевания бонзы, – что такое все это в сущности? Неужели же мне следует, по-вашему, уверовать наравне с суеверными глупцами, что это произведение фосфора и серого мозгового вещества есть высшая часть самого меня; что оно действует и зрит *помимо* моих физических чувств? Никогда и ни за что!

Ведь верить в дайдж-дзинов моего благономерного, но суеверного друга – это все равно, что верить в «планетные разумы» астрологов, в Юпитера и Гелиоса, Сатурна и Меркурия, будто бы занятых судьбами смертных. То же самое – всерьез допускать

существование воздушных не-сущест, которые якобы вели «мою душу» в этом неприятном сне! Я смеялся над этой нелепой идеей, мне она была отвратительна. Говорить о невидимых существах, «бестелесных разумах» и прочих безумных суевериях я считал личным оскорблением для интеллекта и рассудка человека.

Короче, я попросил своего друга-бонзу избавить меня от его протестов, а с этим и от неприятности разрыва с ним навсегда.

Яростно споря с этим почтенным японским джентльменом, я сделал все, что было в моих силах, чтобы у него сложилось прочное мнение, что я внезапно сошел с ума. Но его восхитительное терпение все же оказалось еще больше моей идиотской страсти, и он снова и снова умолял меня, ради моего будущего, подвергнуться «необходимым очистительным ритуалам».

– Никогда! По-моему, – продолжал я, перефразируя известное изречение Рихтера<sup>28</sup>, – «все же лучше жить в воздухе, разреженном донельзя воздушным насосом здорового неверия», нежели «в густом тумане глупого суеверия»! Не поверю и *не хочу* верить! – повторял я. – Но так как мне становится более не под силу бороться с такою неизвестностью о судьбе сестры, то я и еду в Европу первым же пароходом.

Эта решимость совсем расстроила моего старого друга. Но его искренние мольбы не уезжать, не повидав еще раз ямабузи, я оставил без всякого внимания.

– Мой дорогой иностранный друг! – восклицал он. – Я молюсь, чтобы вам не пришлось сожалеть о своем неверии и безрассудстве. Пусть Святая (богиня милосердия Квон-он) защитит вас от дзинов! Ведь, поскольку вы отказались подвергнуться процессу очищения у святого ямабузи, он будет не в силах защитить вас от зловредных влияний, вызванных вашим неверием и отрицанием истины. Но я прошу, позвольте в этот час расставания мне как старшему, который желает вам только добра, еще раз предупредить вас и уведомить вас о вещах, о которых вы еще ничего не знаете. Я могу говорить.

– Валяйте, – был мой невежливый ответ, – но и я должен в свою очередь предупредить, что ничто из того, что вы скажете, не заставит меня поверить в ваши позорные суеверия, – это я добавил с жестоким чувством удовольствия от еще одного ненужного оскорбления.

Но этот замечательный человек проигнорировал этот новый укол, как и все предыдущие. Никогда не забуду серьезной искренности его прощальных слов и выражение жалости на его лице, когда он понял, что все бесполезно и получается, что своим благонамеренным вмешательством он лишь привел меня к крушению.

– Послушайте меня, милостивый государь, в последний раз, – начал он. – Поймите, что из-за того, что святому и почтенному человеку, который, чтобы утолить вашу печаль, открыл вам «видение души», не позволили закончить работу, ваша будущая жизнь станет такой, что вы решите, что уже не стоит жить. Он должен был предохранить от произвольных повторений видений того же характера. Однако, не согласившись на это по своей воле, вы будете оставлены на волю *сил*, которые будут осаждать и преследовать вас, пока вы не дойдете до грани безумия. Знайте, что развитие «длинного зрения» (ясновидения), которое достигается *по своей воле* лишь теми, от кого у Матери Милосердия, великой Квон-он, нет секретов, в случае начинающих осуществляется с помощью дзинов воздуха (стихийных духов), которые бездушны, а потому злы. Знайте также, что архату, «победителю врага», подчинившему этих существ и сделавшему их своими слугами, нечего бояться, но тот, у кого нет над ними власти, становится их рабом. Нет, не смейтесь в своей гордости и невежестве, а слушайте дальше. Во время видения и когда внутренние чувства ясновидящего направлены на события, которые он хочет увидеть, он, если он такой неопытный новичок, как вы, находится полностью во власти дайдж-дзина. *Сам он над собой уже не властен* и принимает часть природы своего «проводника». Дайдж-дзин, направляющий его внутреннее зрение, держит его душу в подлом заточении, делая его подобным себе, пока длится это состояние. Лишенный

---

<sup>28</sup> Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763–1825) – немецкий писатель.

своего божественного света, человек лишь бездушная тварь, а потому во время такой связи он не будет испытывать никаких человеческих чувств – ни жалости, ни страха, ни любви, ни милосердия.

– Но постойте, – невольно воскликнул я, когда его слова живо воскресили в моей памяти безразличие, с которым я в своей «галлюцинации» наблюдал отчаяние своей сестры и потерю ею рассудка. – Впрочем, нет... это еще худшее безумие – искать или находить какой-то смысл в вашем смехотворном рассказе! Но если вы знали, что это так опасно, зачем вы вообще посоветовали этот эксперимент? – насмешливо добавил я.

– Он должен был длиться лишь несколько секунд, и из него не вышло бы ничего плохого, если бы вы сдержали обещание подвергнуться очищению, – последовал печальный и кроткий ответ. – Я желал вам добра, друг мой, и сердце мое почти разбивалось при виде того, как вы страдаете. Эксперимент безопасен, когда направляется *знающим человеком*, и становится опасным, только когда пренебрегают последним предостережением. Именно «Мастер видений», который открыл проход в вашу душу, должен закрыть его Печатью Очищения, которая предотвратит любое дальнейшее намеренное проникновение...

– Мастер видений, да уж! – крикнул я, грубо его прервав. – Скорее, мастер надувательства!

Печаль на его добром старом лице стала столь сильной, что мне даже больно стало на него смотреть, так что я понял, что зашел слишком далеко.

– Тогда прощайте, – сказал старый бонза, поднявшись. И совершив обычные церемонии вежливости и сохраняя достоинство, Тамура в молчании покинул дом.

## VI

### Я уезжаю, но не в одиночестве

И я действительно уехал три дня позднее, не выдав более моего приятеля бонзы и даже не простясь с ним<sup>29</sup>. Мне было неловко перед ним, но колесо страсти и гордости непрерывно вращалось во мне, не позволяя мне ни на мгновение испытать чувство сожаления. Что же заставляло меня получать такое удовольствие от гнева, что когда я на мгновение забыл о своей обиде на ямабузи, я сразу же был ввергнут в нечто вроде искусственной ярости против него. Он ведь только сделал то, что я от него и ожидал и что молчаливо обещал, и это я сам лишил его возможности сделать больше для моей же защиты, и он сделал бы это, если бы я поверил бонзе, которого я знал как человека чести, на которого можно положиться. Было ли это сожаление о том, что гордость заставила меня пренебречь предложенной предосторожностью, или это страх раскаяния заставил меня собрать в своем сердце все малейшие детали предполагаемого оскорбления все той же самоубийственной гордости? Сожаление, как верно заметил один старинный поэт,

Подобно сердцу, в котором оно растет...

...И если оно укоренилось в сердце гордом и мрачном,

То подобно ядовитому дереву, пронзившему его до самой глубины,

---

<sup>29</sup> В русском варианте рассказа из «Ребуса» далее следуют строки, которые опущены, поскольку они вкратце повторяют приведенный выше фрагмент из англоязычного варианта: «Он, очевидно, чувствовал себя огорченным, быть может, серьезно оскорбленным моими более, нежели непочтительными, грубыми и обидными отзывами о человеке, которого он так справедливо почитал; и его последние слова прощания в тот, навеки памятный мне вечер, были:

– Друг, молю, чтобы ты не раскаялся в своем неверии и опрометчивости. Да простит и охранит тебя благословенная Квон-он (богиня милосердия) от злых *дзинов* (духов) – потому что теперь, когда ты напрямик отказываешься подвергнуть себя очистительному обряду, предлагаемому тебе святым ямабузи, не в его более воле охранить тебя от дурного влияния темных сил, вызванных твоим неверием и презрением к истине. Прости.

Я отвечал на его горькие слова прощания одной презрительной усмешкой и старался их забыть, не позволяя себе даже думать о моем видении».

И заставляет лить кровавые слезы<sup>30</sup>.

Возможно, неопределенный страх перед чем-то в этом роде и заставил меня оставаться столь упрямым и привел меня к тому, что я стал оправдывать даже совершенно неспровоцированные оскорбления, нагроможденные мною на голову моего доброго и всепрощающего друга бонзы сильным к тому раздражением. Однако, уже поздно было пытаться взять назад произнесенные мною слова оскорбления, и все, что я мог сделать, это пообещать себе написать ему дружелюбное письмо как только я прибуду домой. Каким я был дураком, слепым дураком, возбужденным наглým самомнением! Я был так уверен, что мое видение произошло просто благодаря какому-то трюку ямабузи, что я уже предвкушал радость от своего будущего триумфа, когда напишу бонзе, что моя семья в добром здравии и докажу, что был прав, отвечая недоверчивой улыбкой на его грустные прощальные слова!

Но я не пробыл в море и недели, когда случилось нечто такое, что заставило меня невольно вспомнить их! С самого дня описанных мною событий видения (в зеркале) я стал замечать в себе большую перемену как нравственно, так и физически, но постоянно приписывал ее сильному беспокойству, повлиявшему на мое здоровье и нервную систему. Часто среди многолюдного общества пассажиров, даже днем, неожиданно и без всякой к тому причины я внезапно терял на несколько минут сознание об окружающих меня особах и о том, где я находился, и видел себя в других, незнакомых мне местах. Ночи я проводил беспокойно, а когда засыпал, то являющиеся мне сновидения были тяжелые, часто перемешанные с ужасными сценами. Моряком я был хорошим, в том смысле, что не знал, что такое морская болезнь, да к тому же и наше путешествие выдалось необычным в этом отношении; во все время погода стояла чудесная, а море было глаже всякого пруда. Несмотря на это, со мной часто происходили странные головокружения, и в такие минуты знакомые мне физиономии пассажиров принимали самые безобразные и смешные выражения и даже преобразовывались (в моих глазах) совсем в другие лица. Так, один хорошо знакомый со мною юный немец вдруг превратился передо мною в своего отца, похороненного нами три года до того на маленьком кладбище европейской колонии в Киото. Мы разговаривали с ним стоя у борта на палубе о делах его покойного родителя, когда вдруг голова Макса Грюннера показалась мне покрытой точно беловатой плесенью, а сам он – окруженным густым сероватым туманом, который, как бы оклеив его наружно с ног до головы каким-то прозрачным веществом и покрыв все черты его здорового, цветущего лица словно слепком, вдруг стусился и преобразовался в старую, желтовато-бледную голову, похороненную на моих глазах. В другой раз я увидел возле капитана, рассказывавшего нам историю одного пойманного им и засаженного в тюрьму малайца, вора и убийцу, желтое, безобразное лицо, в котором я мысленно признал последнего. Я никогда не говорил о подобных галлюцинациях; но по мере того как они учащались я чувствовал себя очень встревоженным, хотя и продолжал относить их к вычитанным мною в медицинских книгах естественным причинам.

В одну ночь я был внезапно разбужен громким и пронзительным криком: то был женский голос, жалобный, как у ребенка, полный ужаса и беспомощного отчаяния. Я проснулся и тут же очутился в незнакомой мне комнате, на суше, и [стал] свидетелем следующей омерзительной сцены. Молодая девушка, почти еще ребенок, отчаянно боролась с сильным мужчиной средних лет, проникшим ночью с недобрым намерением в ее комнату во время ее глубокого сна. *За запертою – на ключ – дверью* я заметил прислушивающуюся старуху, лицо которой, невзирая на его тогда искаженное, почти демонское выражение, показалось мне знакомым: то была еврейка – [из] моего видения в Киото! Я тотчас узнал и ее, *и ее самые затаенные мысли*. Она получила много золота за помощь в совершении ужаснейшего преступления и теперь оставалась верной своей роли в этой драме разврата. Но кто же жертва? Проклятие!.. Невообразимый ужас!.. Только позднее, придя в себя в паровой каюте, я сообразил тотчас же, что это была моя родная племянница, девочка-сирота, и что я приеду слишком поздно!

---

<sup>30</sup> Строки из трагедии «Раскаяние» английского поэта, критика и философа С.Т.Кольриджа (1772–1834).

Но как и в первом моем видении, глядя на страшную разыгранную передо мною сцену, я ничего не чувствовал: ни отчаяния, ни сострадания, ни даже простой жалости или отвращения. В такие минуты во мне замирало всякое родственное чувство при виде несправедливости и причиняемого любимым мною особам страдания: замирало все, кроме естественного и столь знакомого всякому честному человеку чувства негодования, овладевающего им, когда он делается свидетелем злоупотребления грубой силой в отношении слабого, незащитного существа. Я бросился, конечно, к ней на помощь и вцепился в горло распутному, грубому животному. Я стиснул его шею как в тисках, но к моему неопишуемому изумлению он, казалось, и не заметил моего нападения, не чувствовал моей сильной руки, даже не обратил на меня внимания! Низкий преступник, видя как бьется, сопротивляясь ему его невинная жертва, поднял в бешенстве свой мощный кулак и одним ударом, направленным в золотокудрую головку, он поверг бедного окровавленного ребенка на землю. С громким криком негодования, с рычанием защищающей детеныша тигрицы я прыгнул на негодея, стараясь задушить его. Но тут только и впервые я осознал с чувством незнакомого мне дотоле страха, что я был только тенью, старавшейся схватить другую, такую же тень!

Мои пронзительные крики и проклятия разбудили всех пассажиров. Их отнесли к кошмару. Я не старался разубедить их, не поверял никому своих странных видений, но с того самого дня моя жизнь сделалась одним длинным рядом нравственных пыток. Я почти не мог закрыть глаз без того, чтобы не сделаться свидетелем какого-нибудь ужасного события, той или другой сцены страдания, смерти или преступления, – в прошлом ли, совершенного в минуту видения или даже будущего, – как я убедился по проверке позднее. Точно какой насмешливый демон задался целью вынуждать меня проходить через длинный ряд панорам всего самого порочного, омерзительного, преступного и грешного в этом мире слез и страданий. Никогда светлый призрак красоты или добродетели не освещал малейшим лучом своим эти картины горя и мучений, на которые я казался обреченным быть невольным свидетелем. Сцены преступления, смертоубийства, измены и разврата проходили нескончаемой ужасной вереницею в моих видениях, сопровождаемые слышимым одному мне хохотом демонов, и я был принужден проводить жизнь лицом к лицу с самыми отвратительными результатами грубых людских страстей, с эссенцией самой материальной земной похоти человека.

Неужели бонза действительно предвидел эти самые страшные последствия, когда он так настаивал на «очищении», говорил о *дайдж-дзинах*, которым вследствие моего упрямства я оставлял «отпертую в себя дверь»? Бредни!.. *Не верю!*.. Во мне просто происходит какая-нибудь физиологическая перемена, аномальный беспорядок нерв[ов]. Раз дома, в Нюрнберге, когда я убежусь, какое фальшивое направление приняли мои опасения, – я уже не смел надеяться на отсутствие *всякого* несчастья, – эти бессмысленные видения исчезнут так же быстро, как они и явились. Лучшим для меня доказательством служит то, что моя фантазия следует постоянно по одному направлению: я вижу одни картины горя и земных страстей в их худшей, самой грубо-материальной форме.

«Если, как вы говорите, человек состоит из одного вещества – материи, основы физических чувств, а его представления с видоизменениями есть просто результат органического устройства нашего мозга, то в таком случае *мы должны весьма естественно быть привлекаемы к одному материальному, грубо вещественному, к земному?*» – послышался мне во время одного такого рассуждения голос бонзы, прервавший мои размышления и повторявший часто употребляемый им в наших спорах аргумент.

Я вздрогнул, и тот же голос продолжал раздаваться *внутри* меня с ясностью, превышающею всякую действительность:

«Для человека существуют в природе два рода видений: в области неумирающей вечной любви и духовных устремлений, прямо истекающие из вечной лучезарности; и в области беспокойной, вечно изменяющейся материи, в вещественном свете, [в] которой так любят нежиться и шалить дайдж-дзины...»

## VII Вечность в коротком сне

В те дни я не допускал *нелепости* верования в каких-либо «духов», хороших, дурных или посредственных. Но я понял значение слышанных мною слов, хотя все еще не верил в существование «духов», продолжая надеяться, что все такие «видения» окажутся подходящими под категорию физического расстройства, то есть просто нервной галлюцинации.

Чтобы еще больше укрепить себя в неверии, я старался вспомнить все аргументы против подобных суеверий, которые я когда-либо слышал или читал. Я вспомнил едкие сарказмы Вольтера, спокойные рассуждения Юма<sup>31</sup> и *до тошноты* повторял слова Руссо, который сказал, что на суеверие, «возмутителя общества», никакие нападки не могут быть чересчур сильными. Почему должны видения, фантазмагии того, о чем при бодрствовании мы знаем, что это неправда, вообще действовать на нас? Почему

Слова, в которых смысла нет,  
Пугают тем, чего на свете нет<sup>32</sup>?

Однажды капитан рассказывал нам о разнообразных суевериях, которым подвержены моряки. Помпезный английский миссионер заметил, что Филдинг<sup>33</sup> давно еще сказал, что «суеверие делает человека дураком», после чего на мгновение заколебался и резко прервался. Я не принимал участия в общей беседе, но не успел почтенный оратор освободиться от своей цитаты, как я увидел в том гало вибрирующего света, которые теперь постоянно замечал вокруг головы каждого человека на пароходе, слова продолжения высказывания Филдинга: «*А скептицизм делает его сумасшедшим*».

Я слышал и читал, что те, кто считают себя ясновидящими, заявляют, что часто видят мысли в ауре присутствующих. Что бы ни означала эта «аура» у других, теперь я на личном опыте убедился в правдивости этих утверждений и почувствовал порядочное отвращение от этого открытия. Я – *ясновидящий*! Новый ужас добавился в мою жизнь – у меня развился нелепый и смехотворный дар, который я теперь должен от всех скрывать, стыдясь его, словно проказы. В этот момент моя ненависть к ямабузи, и даже к моему почтенному старому другу бонзе, не знала границ. Ямабузи, по-видимому, своими манипуляциями надо мной, когда я лежал без сознания, коснулся какой-то неведомой физиологической пружины в моем мозгу и, ослабив ее, вызвал способность, обычно скрытую в человеческом организме; и это японский жрец привел в мой дом этого негодяя!

Но и мой гнев, и мои проклятия были равно бесполезны и ни к чему применить их было нельзя. Более того, мы были уже в европейских водах и через несколько дней должны были прибыть в Гамбург. Тогда-то мои сомнения и страхи могут быть успокоены, и я обнаружу, к своему облегчению, что хотя в ясновидении и может что-то быть, когда дело касается чтения мыслей на месте, все же различить такие события, как мне *привиделись*, на большом расстоянии, это за пределами человеческих возможностей. Однако, несмотря на все доводы рассудка, мое сердце сжималось от страха и было полно самых мрачных предчувствий. Я *чувствовал*, что мой рок близится. Я страшно страдал, и мой нервный и умственный упадок усиливался изо дня в день.

Перед тем, как мы вошли в порт, ночью мне приснился сон.

Мне снилось, что я умер. Мое тело, холодное и окоченевшее, погрузилось в последний сон, тогда как его умирающее сознание, которое еще считало себя «я», сознавая это событие, готовилось через несколько секунд встретить собственное уничтожение. Я всегда считал, что мозг сохраняет тепло дольше, чем любой другой орган, и последним прекращает деятельность, переживая их на несколько минут.

---

<sup>31</sup> Юм Дэвид (1711–1776) – английский философ, историк, экономист и публицист.

<sup>32</sup> Строки из поэмы «Эпиталамион» английского поэта Э.Спенсера (1552–1599).

<sup>33</sup> Филдинг Генри (1707–1754) – английский писатель.

Поэтому я вовсе не был удивлен тому, что когда в моем сне тело уже пересекло ту страшную пропасть, из-за которой смертные не возвращаются, его сознание было еще в серых сумерках, первых тенях великой Тайны. Так моя МЫСЛЬ, обернутая, как я верил, в остатки своей уходящей жизни, с живым любопытством наблюдала приближение своего собственного *уничтожения*. «Я» торопилось записать свои последние впечатления, пока темный саван забвения не обернет меня. Нужно было успеть *насладиться* триумфом, убедившись, что убеждения, которых я придерживался всю жизнь, были верны и смерть есть полное и абсолютное прекращение сознательного существования. Огромные серые тени двигались перед моим взором – сначала медленно, потом все быстрее, пока не начали крутиться вокруг с головокружительной быстротой. Затем, как будто движение имело целью только сгущение темноты, оно, достигнув этой цели, сбавило свою скорость, а с превращением темноты в интенсивную черноту и прекратилось совсем. В моем непосредственном восприятии не осталось ничего, кроме бездонного черного, как смоль, пространства; мне оно казалось столь же безбрежным и беззвучным, как Океан Вечности, по которому Время, порождение мозга человеческого, вечно скользит, но не может никогда его пересечь.

Катон<sup>34</sup> определил сон как «всего лишь образ наших страхов и надежд». Никогда не боясь смерти при бодрствовании, в этом сне я почувствовал себя спокойным при мысли о своем скором конце. По правде, я чувствовал скорее облегчение, – возможно из-за моих недавних умственных страданий, – что близок конец всего, всех сомнений, всех беспокойств и страхов за тех, кого я любил. Непрестанная боль, терзавшая мое измученное сердце долгие изнурительные месяцы, стала теперь непереносимой, и если, как считал Сенека<sup>35</sup>, смерть лишь «прекращение быть тем, чем мы были раньше», для меня лучше было умереть. Тело мертво; «я» – его сознание, все, что остается от меня сейчас, прожив на несколько мгновений дольше, – готовится последовать за ним. Умственные восприятия будут ослабевать, становясь с каждой секундой более туманными, пока долгожданное забвение полностью не обернет меня своим холодным саваном. Сладка волшебная рука Смерти, великой мировой утешительницы, глубок и лишен видений сон в ее нестигаемых руках. Да, она поистине желанная гостья, спокойная гавань среди ревущих валов океана жизни, тщетно бьющегося в скалистые берега Смерти. И счастлив одинокий челн, приплывший в неподвижные воды ее черной бухты, после того как его так долго и жестоко бросало по яростным водам сознательной жизни. Теперь на вечной стоянке, без нужды ставить паруса и рулить, мой челн обретет покой. Добро пожаловать, о Смерть, за эту соблазнительную цену, и прощай, бедное тело, которое, не искав и не получив удовольствий, я теперь охотно отдаю!..

Произнося это воспевание смерти распростертой фигуре передо мной, я склонился и с любопытством ее исследовал. Я чувствовал, как меня подавляет окружающая тьма, почти осязаемо навалившаяся на меня, и воображал, что обрел в ней приближение Освободительницы, которую я так приветствовал. И все же... как странно! Если в нашем сознании наступает реальная, окончательная смерть, если после телесной смерти «я» и мое сознательные восприятия – одно, то почему эти ощущения не ослабевают, почему моя *мозговая деятельность* кажется такой же интенсивной как всегда... *Действительно ли я мертв?*.. Но обычное чувство беспокойства, «тяжести на сердце», не уменьшилось в своей силе; напротив, кажется, что стало еще хуже, невыразимо хуже!.. Сколько же еще ждать полного забвения? ...Ах, это опять мое тело! Исчезнув из виду на секунду или две, оно снова появляется передо мной... Какое оно бледное и отвратительное! Но... его мозг не может быть полностью мертв, поскольку «я», его сознание, еще действует, поскольку мы вдвоем воображаем, что мы еще есть, что мы живем и мыслим, отъединенные от своего создателя и своих мыслящих клеток.

---

<sup>34</sup> Катон Старший (234–149 до н.э.) – римский политик, оратор и писатель.

<sup>35</sup> Луций Анней Сенека (4 до н.э. – 65) – римский философ-стоик, поэт и государственный деятель.

Внезапно я ощутил сильное желание увидеть, сколько еще может продолжаться процесс распада, пока он не поставит на мозг последнюю печать и не сделает его бездействующим. Я исследовал свой мозг в черепной коробке, через полностью прозрачные для меня стенки черепа, и даже *касаясь мозгового вещества*... Как или *чьими руками* – я сейчас не могу сказать; но ощущение очень холодной трясины произвело тогда на меня очень сильное впечатление. К своему ужасу я обнаружил, что кровь полностью свернулась, а сами ткани мозга претерпели такие изменения, что не позволяли уже никакой деятельности, и я не мог объяснить происходящие со мной явления. Здесь был я – или мое сознание, что все равно, – находясь, по-видимому, вне всякого соединения с моим мозгом, который не мог больше функционировать... Но у меня не осталось времени на размышления. Ибо произошла новая и весьма необычная перемена в моем восприятии, и теперь она поглощала все мое внимание... Что это могло значить?..

Вокруг меня была та же темнота, что и раньше, – черное непроницаемое пространство, простиравшееся во всех направлениях. Но только теперь прямо передо мной (в каком бы направлении я ни смотрел и двигаясь вместе со мной, куда бы я ни двигался) были гигантские круглые часы, большой белый циферблат которых зловеще сиял на аспидно черном фоне. Посмотрев на огромный циферблат и на маятник, медленно и регулярно раскачивающийся в пространстве, как будто его качание разделяло вечность, я увидел, что стрелки указывают на *семь минут шестого*, – тот самый час, когда начались мои мучения в Киото! У меня почти не было времени подумать об этом совпадении, потому что, к моему невыразимому ужасу, я почувствовал, что прохожу через тот же самый процесс, который мне пришлось пережить в тот памятный и роковой день. Я плыл под землей, быстро проносясь сквозь ее толщу, и снова оказался в могиле бедняка, узнав в искалеченных останках своего зятя; я был свидетелем его страшной смерти; побывал в доме своей сестры, наблюдал ее отчаяние и сумасшествие. Я прошел через те же сцены, не упустив из них ни одной подробности. Но увы! Я уже не был скован холодным безразличием, которое было со мной в том первом видении и оставляло меня при виде своего огромного несчастья бесчувственным, как бессердечный камень. Мои душевные мучения превосходили теперь всякое описание, становясь почти невыносимыми. Даже постоянное отчаяние и непрестанное беспокойство, переживавшееся мною наяву, теперь казалось, перед лицом повторения видения и событий в моем сне, просто пасмурной погодой в сравнении со смертоносным ураганом. О, как я страдал в этом изобилии ужасов, из которых убеждение, что сознание человека сохраняется и после смерти (ибо в этом сне я твердо верил, что мое тело уже мертво), оказалось самым устрашающим.

Я почувствовал относительное облегчение, когда пройдя последнюю из сцен, я снова увидел перед собой огромный белый циферблат, но оно было недолгим. Длинные, похожие на стрелы стрелки на колоссальном диске указывали на *пять часов семь с половиной минут*. Но прежде чем я успел осознать это изменение, одна стрелка медленно двинулась назад, остановилась точно на семи минутах и – о проклятая судьба! – я обнаружил, что меня проводят через повторение той же последовательности опять! Еще раз я проплыл под землей, и видел, и слышал, и перенес все муки ада – я пережил каждую душевную боль, известную человеку или дьяволу, я возвращался, чтобы увидеть роковые часы и их стрелку, продвинувшуюся – после того, что казалось мне вечностью, – всего на полминуты вперед; с обновленным ужасом я наблюдал, как она опять отодвигается назад, и чувствовал, что меня вновь влечет через это все. И так продолжалось и продолжалось раз за разом, и то казалось мне бесконечной последовательностью, серией, у которой не было начала и не будет конца...

Хуже всего было то, что мое сознание, мое «я», по-видимому, приобрело феноменальную способность утраиваться, учетверяться и даже удесятаться! Я жил, чувствовал и страдал в том же пространстве и времени, в полудюжине разных мест сразу, проходя через всякие события своей жизни в различные эпохи и при самых



несхожих обстоятельствах, хотя преобладало над всем этим мое духовное переживание в Киото. И как в знаменитой *фуге* из «Дон Жуана»<sup>36</sup>, где разрывающие сердце ноты *арио* отчаяния Эльвиры звучат высоко наверху, но никоим образом не мешают мелодии менуэта, песне оболения и хору, так и я снова и снова проходил через свои невыразимые мучения при виде ужасных картин своего видения, повторение которых никоим образом не притупляло боли ни одного из приступов ужаса и отчаяния. Не ослабляли эти чувства и не относящегося к ним первого моего ощущения, что я живу опять; одно другому нисколько не мешало. От этого переживания можно было сойти с ума! Это был ряд переживаемых умом контрапунктных фантазмагорий из реальной жизни. За те же самые полминуты я с холодным любопытством изучал изувеченные останки мужа своей сестры и с тем же безразличием наблюдал эффект, произведенный известием об этом на ее мозг (как в моем киотском видении), и *в то же самое время* испытывал адские мучения по поводу этих событий (как когда после этого я пришел в себя). Я слушал философские беседы бонзы, каждое слово которых я слышал и понимал, и пытался насмеяться над ним. Я снова был ребенком, а затем юношей, слыша голоса моей матери и любимой сестры, которые увещевали меня исполнять долг по отношению ко всем людям. Я спасал тонущего друга и насмеялся над его престарелым отцом, благодарившим меня за то, что я спас «душу», еще не готовую встретиться со своим Творцом.

– Болтайте о *двойственном* сознании, вы, психофизиологи! – крикнул я в один из тех моментов, когда умственные страдания (да и физические, как казалось мне) достигли такой силы, что могли бы убить дюжину живых людей. – Болтайте о своих психологических и физиологических экспериментах, вы, школяры, надутые от гордости и своей книжной учености! Вот он, я, чтобы сообщить вам ложь...

И вот я читаю труды ученых профессоров и лекторов, которые привели меня к моему роковому скептицизму, и веду с ними беседы. И приводя аргументы в пользу невозможности существования сознания отдельно от мозга, я в то же время проливал кровавые слезы по своим племянникам. И самым ужасным было то, что я знал, *как может знать только свободное сознание*, что все мое видение, пережитое в Японии и повторявшееся опять и опять, было во всех подробностях верным – что это был долгий ряд отвратительных и ужасных и все же реальных, действительных фактов.

Наверно уже сотый раз мое внимание было приковано к стрелке часов. Я потерял счет своим круговращениям и стал приходить к выводу, что они уже никогда не кончатся, что сознание, в конце концов, неуничтожимо, и что это будет моим вечным наказанием. Я на личном опыте начал осознавать, что должны ощущать осужденные грешники. У меня еще находились силы для аргументов: «Но ведь в постоянно развивающейся вселенной вечное проклятие логически и математически невозможно». Да, действительно, в этот час все усиливающейся агонии мое сознание – теперь синоним моего «я» – еще находило силы восставать против некоторых богословских утверждений и отрицать все их постулаты, все, кроме СЕБЯ... Нет, я больше не отрицал независимой природы своего сознания, ведь я знал, что она такова. Но *бессмертно* ли оно при этом? О непостижимая и ужасная реальность! Но если ты бессмертна, тогда кто ты? Раз нет божества, нет Бога, откуда ты приходишь и когда впервые появилась, если ты не часть хладного трупа, лежащего там? И куда ты ведешь меня, который есть сама ты, и будет ли нашим мыслям и мечтаниям конец? Каково твое настоящее имя, о неизмеримая РЕАЛЬНОСТЬ и непроницаемая ТАЙНА? О, я бы охотно уничтожил тебя... «Видение души» – кто говорит о душе и чей это голос?... Он говорит, что теперь я вижу сам, что, в конце концов, в человеке есть душа... Я это отрицаю. Моя душа, жизненная душа или дух жизни, кончилась вместе с телом, с серым веществом моего мозга. А насчет этого моего «я», этого сознания, я пока что не получил доказательства вечности. Реинкарнация, в которую бонза так хотел, чтобы я уверовал, может быть правдой... Почему бы нет? Разве не

---

<sup>36</sup> «Дон Жуан, или Наказанный развратник» – опера В.А.Моцарта.

вырастает заново из года в год из одного корня цветов? А поскольку «я» отделилось от своего мозга, потеряв равновесие, и вызывает это скопище видений... прежде чем перевоплотиться...

Я снова оказался лицом к лицу с этими безжалостными, роковыми часами. И наблюдая за их стрелкой, я услышал голос бонзы, доносящегося из глубин их белого циферблата: «В этом случае я боюсь, что вам придется лишь открывать и закрывать дверь храма – снова и снова – в течение периода, который, каким бы коротким он ни был, будет казаться вам вечностью...»

Часы исчезли, тьма уступила место свету, голос моего старого друга потонул в шуме множества голосов на палубе; я проснулся на своей койке в холодном поту, ослабевший от ужаса.

## VIII Печальный рассказ

Мы были уже в Гамбурге, и как только я повидался со своими партнерами, которые едва меня узнали, я с их согласия и с их добрыми пожеланиями отправился в Нюрнберг.

Уже через полчаса после моего прибытия последние сомнения относительно верности моего видения рассеялись.

Я был обманут в своих ожиданиях, обречен на жестокое разочарование! Тотчас по приезде в Нюрнберг я поехал по адресу в дом сестры и нашел его запертым, отдающимся внаймы; а час спустя у бургомистра мне пришлось убедиться и в действительности виденной мною страшной трагедии со всеми ее душу разрывающими подробностями! Мой зять, истерзанный в куски под стальными зубцами лесопильной машины; моя сестра, неизлечимо помешанная – в богадельне и уже быстро приближается к своему концу; племянница – нежный цветок, «природы лучшее произведение», – обесчещенная, в притоне разврата; меньшие дети, отданные городскими властями в сиротский приют для нищих, умершие один за другим в пять месяцев жертвами страшной детской эпидемии; мой племянник, наконец, единственный переживший младших братьев и сестер – где-то в море, никто не знал наверное где! Целое семейство – обитель мира и взаимной любви – рассеянное по лицу земли, одни умершие, другие близкие к смерти! А я, – я теперь на свете один, свидетель этому целому миру смерти, бесчестия и полного разрушения!

Получив известие, подтвердившее таким образом истину моего видения, я впал в безграничное отчаяние, сломился, как подкошенный сноп, перед этим рядом поражающих меня разом, словно громом, событий; удар оказался слишком сильным и я упал в глубокий обморок. Теряя сознание, я еще успел расслышать и понять произнесенные бургомистром слова: «Если бы вы только телеграфировали вовремя городским властям до вашего отъезда из Киото о том, где вы пребываете и о вашем возвращении и намерении взять на себя попечение о ваших племянниках и сестре, мы могли бы тогда распорядиться иначе и спасти их от постигшей участи. Никто не знал, что у детей есть дядя с хорошим состоянием. Они остались в полном значении слова нищими; их родные только что переехали в Нюрнберг, где их никто не знал, и по смерти отца, не успев узнать ничего от помешавшейся матери, с ними было поступлено по закону, как поступили бы в каждом другом городе; да при таких обстоятельствах вам и трудно было бы ожидать чего иного... Мне остается только глубоко сожалеть о случившемся, а вам – о том, что вы не телеграфировали вовремя».

Он был прав; и это именно и убивало меня. Мысль о том, что если бы я тогда послушал и поступил по дружескому совету бонзы Тамуры, то мог бы, по крайней мере, спасти от бесчестия мою несчастную племянницу; что телеграфируя я за несколько недель до отъезда, я спас бы тем, пожалуй, и меньших детей, – эта мысль в соединении с фактом, что с этой минуты мне становилось невозможным сомневаться долее в действительности ясновидения и оккультизма, – возможность которых я так долго, так упорно отрицал, – все это, вместе взятое, обрушившись на меня разом, сломило меня, как гнилой тростник. Я мог избежать порицания ближних, но я не мог скрыться нигде от упреков собственной совести, от приговора моего наболевшего, навеки разбитого сердца – нигде, никогда, никогда!.. Я проклинал свое безумное упрямство, мой

скептицизм, отрицание самых очевидных фактов, мое раннее атеистическое воспитание. Словом, я проклинал себя, а затем и весь окружающий меня мир!

В продолжение нескольких дней, благодаря только одной силе воли, я успел не поддаться быстро овладевавшему мною недугу. Если я не свалился тотчас же под бременем поразившего меня несчастья, то это только благодаря тому, что мне следовало сперва исполнить священный мой долг в отношении к живым и мертвым. Но как только я взял из больницы для нищих сестру и отдал ее на попечение одного из лучших медиков Нюрнберга, вырвал племянницу из ее вертепа и поселил с умирающей матерью ухаживать за нею, а сознавшуюся в преступлении еврейку засадил в тюрьму, – то в тот же день поддерживающая меня до того сила воли и твердость мгновенно оставили меня... Не прошло и недели по моем возвращении, как я уж лежал, сам не лучше помешанного, в бреду белой горячки, в смирительной куртке, день и ночь изрыгая проклятия на дайдж-дзинов и судьбу. В продолжение многих недель я боролся со смертью; страшный недуг не поддавался усилиям лучших докторов. Наконец мое сильное сложение победило болезнь и я был спасен.

Я узнал об этом с облившимся кровью сердцем. Приговоренный нести ярмо жизни впредь один, потеряв всякую надежду на помощь или даже облегчение моей участи на земле и все-таки продолжая упорно отрицать возможность другой, лучшей жизни за гробом, подобное неожиданное возвращение к жизни только прибавило одну лишнюю каплю горечи к моему безотрадному положению. Не нашел я облегчения и в том, что, не успев встать с одра болезни, как в первые же дни те же неприветливые, нежеланные видения, действительность и значение которых я не мог более отрицать, вернулись ко мне с удвоенной силою. Увы! Мне не являлось более даже возможным взирать на них теперь с прежним слепым упорством, как

...на чад горячечного мозга,  
Рожденных суеверьем и фантазией<sup>37</sup> ...

Так, как и всегда, они являлись верной фотографией горестей и страдания моих ближних, часто лучших моих друзей... Таким образом, я нашел себя обреченным к пытке и беспомощному состоянию прикованного к скале Прометея, осужденным, как только я оставался один, видеть страдания двух дорогих для меня существ. В безмятежные для других продолжительные зимние ночи, словно увлекаемый железной, безжалостной рукою, я чувствовал себя, как только закрывал глаза, мгновенно переносимым к смертному одру несчастной сестры. Я был вынужденным наблюдать в продолжение иногда целых часов за медленным процессом постепенного разрушения ее слабого, истощенного организма, видеть и *чувствовать* страдания, которые ее покинутый светлым разумом мозг не в состоянии был уже ни отсвечивать, ни передавать ее телесным чувствам. Но что было еще тяжелей и ужаснее, так это то, что я должен был смотреть на невинное детское личико моей племянницы, столь трогательно простой и безгрешной в ее невольном осквернении; видеть, как полное сознание и воспоминание о своем бесчестии, о своей юной, навеки погибшей жизни терзали каждую ночь ее сны, для меня *принимающие объективный образ*, как на пароходе. Так приходилось мне переживать одну ночь за другой те же страшные муки. Потому что теперь, когда я окончательно уверовал в действительность ясновидения и пришел раз и навсегда к убеждению, что в нашем теле лежит скрытая, как в гусенице, куколка, могущая содержать в себе в свою очередь бабочку – прелестный древнегреческий символ души, – я уже не оставался, как бывало прежде, равнодушным к таким видениям во время их самого явления. Что-то такое разом развилось, выросло во мне, оторвавшись от своей ледяной куколки (очевидно, я уже видел не в силу отождествленности моей внутренней природы с дайдж-дзином; видения уже возникали вследствие непосредственно личного психического развития; дьявольские же создания лишь заботились о том, чтобы я не видел ничего радующего или возвышенного); и теперь ни единое бессознательное ощущение страдания в истощенном теле моей умирающей сестры, ни единый вопль или содрогание ужаса в беспокойных, полных душевной муки снах племянницы при воспоминании о совершенном над нею, невинным

---

<sup>37</sup> Строки из трагедии «Ромео и Джульетта» В.Шекспира.

ребенком, преступлении – не проходило для меня даром, но каждое из них, напротив, пробуждало теперь ответный отголосок в моем обливающимся кровью сердце. Глубокий поток сочувственной любви и горя, залив это смертное сердце, вышел из берегов и громко клокотал теперь ответным эхом в впервые пробужденной во мне душе. А эта душа словно покидала меня, отделялась каждую ночь и странствовала независимо от своего тела... То были невыразимо ужасные денные и ночные терзания! О, как сожалел я тогда о своем безумном, слепом высокомерии! Как горько раскаивался, как страшно я был наказан за свой оскорбительный отзыв о ямабузи, за отказ подвергнуться предлагаемому им *очищению*, ведь теперь мне пришлось поверить в его действительность. Воистину я стал подвластен дайдж-дзину; и демон, как оказывалось, травил теперь свою жертву постоянно, направив на нее всех псов разверзнувшегося для нее ада.

Наконец бедная безумная женщина перешла за давно зияющую перед ней темную пропасть, и мученица успокоилась в лоне смерти. Тихо и безмолвно она канула в вечность, заснула непробудным сном в своей темной могиле, а через несколько месяцев за нею последовала и мученица-дочь. Чахотка скоро сделала свое дело с этим слабым, почти еще детским организмом. Не прошло после моего приезда из Японии и года, как я остался один в целом мире. Даже мой дорогой, далеко странствующий племянник, место пребывания которого мне удалось, наконец, узнать, – единственный оставшийся в живых родственник, – изъявил письменно желание остаться при заменившем ему отца шкипере и следовать избранной им для него профессии. То был последний для меня удар.

Да, я остался на свете один, живой развалиной прежнего и выглядя в тридцать лет шестидесятилетним стариком. Видения не прекращались, и я продолжал делаться невольным свидетелем греха и преступлений, пока, наконец, на самом краю помешательства я внезапно решился на отчаянный шаг. «Я вернусь в Киото и пойду к ямабузи. Я брошусь к ногам святого, оскорбленного мною старца и не подымусь, пока он не простит меня, не отзовет и не укротит созданного моим высокомерным неверием, но все же пробужденного им самим Франкенштейна, демона, с которым я, по моей слепоте и гордости, не пожелал тогда расстаться!..» – отчаянно воскликнул я.

Три месяца спустя я был снова дома, в Японии. Отыскав моего старого почтенного друга бонзу Тамуру Хидерейи, я умолял его повести меня тотчас же к ямабузи, невольному виновнику моих ежедневных терзаний. Его ответ удесяттерил мое отчаяние: святой отшельник покинул свою родину; никто не мог наверное сказать для каких стран. Он распрощался с братией в одно прекрасное утро с намерением отправиться на богомолье вглубь страны и, следуя обычаю, не мог вернуться, – если только смерть не сократит периода, – ранее семи лет!

Я обратился за помощью и покровительством к другим ямабузи; но ни один не мог обещать наверное совладать с демоном, вызванным другим, отсутствующим адептом, или даже укротить этого беса ясновидения. «Тот, кто пробудил дайдж-дзина, должен снова и усыпить его, – говорили мне они все, – особенно если он принадлежит к разряду тех духов, которые вопрошаются о прошлом или будущем. Но мы сделаем все, что можем». Зная об этом, мой замечательный друг все же делал все возможное, чтобы помочь мне в моем несчастье.

С добрым состраданием, которое я только тогда научился ценить, эти святые пригласили меня присоединиться к группе своих учеников и научиться делать кое-что самостоятельно. «Теперь вам может помочь только вера, вера в силы своей собственной души, – говорили они. – Но чтобы исправить хотя бы только часть этой большой беды, может потребоваться несколько лет. Дайдж-дзина легко выгнать вначале, но если его оставить, он завладевает природой человека, и потом становится почти невозможно выкорчевать этого демона, не убив при этом его жертву».

Убедившись, что ничего другого мне не остается, я с благодарностью согласился, стараясь изо всех сил поверить в то, во что верили все эти святые люди, хотя мне это плохо удавалось и в глубине своего сердца я все же не мог в это поверить – демон неверия и отрицания, похоже, угнездился во мне еще крепче, чем дайдж-дзин. Но я делал все, что мог, решив не терять своего последнего шанса на спасение. Потому я без промедления стал освобождаться от мирских и коммерческих обязательств, чтобы получить несколько лет независимой жизни. Я уладил расчеты со своими гамбургскими

партнерами и прекратил связи с фирмой. Несмотря на значительные финансовые потери, вызванные такой стремительной ликвидацией, я оказался, закрыв счета, гораздо богаче, чем думал. Но богатство теперь потеряло для меня всякую притягательность – теперь у меня не было никого, с кем бы я мог им поделиться и для кого мог бы работать. Жизнь стала бременем и мое безразличие к своему будущему было таким, что отдавая все свое состояние своему племяннику, – если он вернется живым из своего морского путешествия, – я настолько не позаботился оставить хоть малость для себя, что мой партнер-соотечественник вмешался и настоял, чтобы я это сделал. Теперь, вместе с Лао-тце, я признавал, что знание – единственная надежная вещь, которой можно доверять и которую не может унести никакая буря. Богатство – ненадежный якорь в дни печали, а самомнение – самый фатальный из советников. Потому я последовал совету своих друзей и отложил для себя скромную сумму, которая могла обеспечить мне небольшой доход, достаточный для поддержания существования, на случай, если я вдруг оставлю своих новых друзей и наставников. Урегулировав свои земные дела и избавившись от своей собственности в Киото, я присоединился к «Мастерам дальнего видения», которые взяли меня в свою таинственную обитель. Там я находился несколько лет, старательно участь в полном уединении, не видя никого кроме нескольких членов нашей религиозной общины.

Таким образом, облегченный, но далеко не совсем излеченный, я мог только научиться заклинать нежеланные видения, в лучших случаях – разом прекращать их. Но я не в состоянии до сего дня отвязаться от них бесследно и они все еще часто мучат меня. Я научился многим тайнам природы из секретных фолиантов обширной библиотеки храма Тзион-эне<sup>38</sup> и получил власть над несколькими родами невидимых существ нижнего разряда духов. Но великая тайна владычества над ужасными дайдж-дзинами остается пока в руках одних посвященных адептов, последователей Лао-тце и отшельников – ямабузи. (Да и из ямабузи большинство не знают, как достичь господства над этими опасными элементалами). Надо сделаться *одним из них* и дойти до высшей степени посвящения, дабы достичь до такого могущества; а меня нашли неспособным к этому вследствие многих неборимых причин, хотя я делал все, что мог, и трудился над этим долгие годы. Хотя отчасти я все же излечился от своей беды и научился отгонять нечистые видения, я и по сей день не в силах предотвратить их навязчивого появления время от времени.

Убедившись в своей негодности для высокого положения независимого провидца и адепта, я неохотно отказался от всяких дальнейших испытаний. О святом человеке, невинной первопричине моих несчастий, ничего не было слышно, а старый бонза, как-то посетивший меня в моем убежище, тоже не смог или не захотел сообщить мне о местонахождении этого ямабузи. Потому, потеряв всякую надежду освободиться от своего рокового дара, я решил вернуться в Европу, чтобы провести остаток жизни в одиночестве. С этой целью я купил у своих бывших партнеров швейцарское шале, в котором родились я и моя несчастная сестра, и где я рос на ее попечении, и избрал его местом своего будущего затворничества.

Прощаясь со мной навсегда на пароходе, увозящем меня на родину, старый добрый бонза старался утешить меня:

– Мой сын,<sup>39</sup> относитесь ко всему случившемуся как к своей карме – справедливому воздаянию. Никто из тех, кто раз находился – по своей ли или вследствие чужой воли, добровольно или иначе – во власти дайдж-дзина, не может надеяться сделаться настоящим ямабузи. В самом благоприятном случае он успевает только научиться, как отражать его нападения и с успехом бороться с ним. Подобно *шраму, оставленному по излечении ядовитой раны*, следы дайдж-дзина никогда не могут быть совершенно изглажены из нашего внутреннего «я», доколе его не изменит и совершенно не переделает – *новое воплощение*. Но сохраняйте бодрость духа, не удручайтесь своей бедой, ибо она привела вас к настоящему знанию и

---

<sup>38</sup> Тион-ин.

<sup>39</sup> Далее в публикации «Ребуса» написано: «говорил мне часто старый бонза, объясняя главное затруднение».

заставила признать много истин, которые бы вы иначе презрительно отвергли. А этого знания, приобретенного в страданиях собственными усилиями, никакой дайдж-дзин никогда не сможет вас лишить. Прощайте, и пусть Мать Милосердия, великая Царица Небесная даст вам защиту и утешение.

Мы расстались, и с тех пор я веду жизнь затворника и учусь. Хотя иногда у меня еще бывают приступы, я не сожалею о годах обучения у ямабузи, а чувствую благодарность за полученные знания. О бонзе Тамуре Хидерейи я всегда вспоминаю с искренней любовью и уважением. Я регулярно переписывался с ним до самой его смерти – события, которое я имел незаслуженную честь видеть через океаны в тот самый час, когда оно произошло.

Лондон.

«Радда-Бай».